Г.Н. Яковлев

Спорные истины «школьной» литературы

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга известного московского учителя словесника, кавалера медали Пушкина, много лет проработавшего заведующим кафедрой русского языка и литературы Центра образования № 1811, состоит из литературно-критических эссе, посвященных произведениям «школьных» писателей и поэтов – Пушкина, Гоголя, Некрасова, Тургенева, Горького, Блока, Маяковского, Фадеева. Отличительная черта этих эссе – новые, оригинальные ответы на «давно отвеченные» вопросы. Убедительная аргументация автора ломает привычные догмы и представления, десятилетиями внедрявшиеся в сознание школьников. Попутно учитель-мастер делится опытом воспитания в учениках самостоятельного, нешаблонного мышления. Вошедшие в книгу эссе публиковались в журнале «Литература в школе», газете «Литература», «Учительской газете», «Литературной газете» и др. и вызвали живой отклик со стороны учителей и литературных критиков. В настоящем издании наиболее значимые публикации впервые собраны вместе и, при необходимости, доработаны. Для преподавателей средних учебных заведений, методистов, студентов педвузов, а также для всех неравнодушных к отечественной классической литературе.

- Григорий Наумович Яковлев
  - ○
  - ○ Солнечный голос Учителя
  - ○ Пушкин против «Голиафа Фиглярина»
    - ■
    - ■ Жаркое лето тридцать первого года
    - ■ Рождение Косичкина
    - ■ «Блистательные солнца нашей словесности»
    - ■ Мизинец или кулак?
    - ■ По следам Косичкина
    - ■ Пустить себе кровь
    - ■ Неожиданное послесловие
  - ○ «Ай да Пушкин!»
  - ○ Изучать ли в школе «Тараса Бульбу»?
  - ○ «Ему судьба готовила путь славный, имя громкое…»
  - ○ А кто такая Одинцова?
  - ○ Лгал ли Лука?
  - ○ Загадки поэмы Блока
  - ○ Свобода слова и перст указующий
  - ○ «…У лефов появился Пушкин…»

        - «Пушкин с Маяковским бы сошлись»?
        - «Сбросить Пушкина…»
        - «А почему не атакован Пушкин?»
        - «Я люблю вас…»
        - «Я перегнул…»
    - Ошибка Фадеева или Мечика?
    - «Свое суждение иметь…»
    - Авторское послесловие
    - Библиографическая справка
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7

Григорий Наумович Яковлев
Спорные истины «школьной» литературы

Деривативное электронное издание на основе печатного издания: Спорные истины «школьной» литературы / Г. Н. Яковлев. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2010.

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.

© А. Г. Яковлев, 2010

Солнечный голос Учителя

Григорий Наумович был учителем от Бога[1]. Он с самого начала в преподавании литературы шел своим собственным путем. Чужие мнения, с какого бы высокого потолка они ни спускались в советскую школу, для него никогда не были настолько святы, чтобы отказаться от своего собственного. В 90-е годы его называли педагогом-новатором, хотя он был им всегда.

Но Г. Н. Яковлеву рамки урока оказывались тесны. Сколько мыслей остается невысказанными! Сколько вопросов еще хотелось бы обсудить – и с ребятами, и с коллегами! Для творческого человека это не проблема, был бы чистый лист бумаги и (хотелось написать по-старинному) – перо.

Много лет Григорий Наумович писал критические статьи. Свыше семидесяти опубликовано в различных изданиях, в том числе в хорошо известном учителям-словесникам приложении к газете «Первое сентября» – «Литература».

Его статьи – это спокойный и взвешенный пересмотр закосневших литературоведческих и методических позиций, на которые опиралась советская школа и частенько опирается нынешняя. Нас учили, что Тарас Бульба – патриот родины и храбрец. Морозка из фадеевского «Разгрома» – рыцарь революции, а Мечик – предатель и трус. Что герои поэмы А. Блока «Двенадцать» – «апостолы нового мира», а Одинцова из романа И. С. Тургенева – холодная, бесчувственная особа. Что горьковский Лука – опасный лжец, а Сатин – певец человеческого достоинства.

Григорий Наумович открывает книгу, и оказывается – как же мы этого не замечали? – что Тарас Бульба – бандит и убийца, Морозка – вовсе не герой, Сатин – равнодушный к чужой боли фразер, что Мечик, Лука – люди, умеющие глубоко чувствовать и сострадать окружающим. И доказывает он это спокойно, четко, аргументируя каждую свою мысль строчками текста.

Ценности, которые отстаивает учитель, – абсолютны. Это милосердие, уважение к людям. Этим определяется и его исследовательская манера, в которой сочетаются теплота и требовательность. Прежде чем осуждать или защищать героя, он стремится воссоздать его полный портрет со всеми плюсами и минусами, со всеми тайными движениями души и особенностями характера. Получается красочная, объемная картина. Григорий Наумович учит видеть мир панорамно, во всём богатстве его красок. Ведь жизнь не готовая схема, а люди не черно-белые трафареты, в них намешано и хорошее, и плохое. Надо потихоньку уходить от юношеского беспощадного,

нигилистического максимализма. Надо учиться понимать и жалеть человека. Об этом – все статьи Г. Н. Яковлева.

Читать их – удовольствие: тут и неожиданная постановка проблемы, и смелость умозаключений, и чувство юмора, доброта, интеллигентность, деликатность – и в то же время спокойная твердость. Григорий Наумович умел вести диалог – с учениками, с друзьями, с читателями, но никогда не навязывал своего мнения и готов был выслушать чужое. Он бесстрашно восставал против грубости, хамства, унижения человеческого достоинства. Именно поэтому ему были отвратительны грубый цинизм, пренебрежение к окружающим и жестокость, которые демонстрируют Морозка, Сатин, двенадцать красногвардейцев. Автор статей стремится отстоять общечеловеческие ценности, а не сиюминутные идеологические. И в этом он бесстрашен и тверд. Он поднимается на защиту традиционно критикуемого Мечика, потому что у того, в отличие от бессердечного и примитивного Морозки, «есть совесть, есть стыд, сострадание, жалость к людям, душевная мягкость» («Ошибка Фадеева или Мечика?»).

Почти все статьи этого сборника – полемические. Непривычен взгляд Г. Н. Яковлева и на героиню романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» («А кто такая Одинцова?»). Вся статья проникнута уважением к женщине вообще, восхищением перед нею, удивлением перед вечной ее загадкой. Вот и Одинцова, по мысли Григория Наумовича, личность сложная и неоднозначная. Обвинения ее в холодности, неумении любить он отвергает и в доказательство приводит строки самого Тургенева.

Реабилитирует критик и Луку, «утешителя» из пьесы М. Горького «На дне» («Лгал ли Лука?»). И опять – дотошная работа с текстом, внимательное прочтение, обращение к архивам современных больниц. И что же? Десятилетиями затверженные схемы рушатся, как карточный домик. «Вредоносный» Лука оказывается милосерднее, мудрее, порядочнее «правильного» Сатина, которого возвеличивала советская критика и который на самом деле жестокий циник, ни во что не ставящий чужую жизнь. Это Сатин, а не Лука подталкивает к самоубийству Актера – достаточно перечитать эпизод! А ведь в пьесе всё это написано! Чему, получается, учили школьников? Хамству, пренебрежению к окружающим, равнодушию и жестокости. Да, Лука утешитель. Но, напоминает Г. Н. Яковлев, Утешителем называл себя Иисус Христос. «Почему драгоценные человеческие качества – доброта, сочувствие, сострадание, стремление помочь людям, утешить их – стали мишенью многолетних нападок литературоведов и пропагандистов?» – вопрошает автор статьи. И сам же отвечает:

потому что есть знаменитая цитата Горького о том, что Ленин «вычеркнул из жизни тип утешителя». Какая горькая и жгучая ирония в словах Григория Наумовича: «Что и говорить: Ленин не был утешителем; сколько замечательных людей он и его наследники „вычеркнули из жизни“, провозгласив отказ от морали в политике… Неужели уж так вредна жалость? Равнодушие или жестокость лучше? „Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо!“ – патетически возглашает Сатин. Да кто же, если не Лука, единственный в ночлежке, по-настоящему уважает униженных и оскорбленных не им людей? Он не раз напоминает: „Всякого человека уважать надо“ – и поступает соответственно. Не жалеть, не утешать, держать в ежовых рукавицах – это по-сталински, по-ежовски. А хорошая поэтесса Юлия Друнина пожаловалась в стихотворении: „Кто б меня, унизив, пожалел…“ Пожалел бы – может, и не покончила бы самоубийством мужественная женщина, прошедшая войну». Как сильно и здорово, как по-человечески: не отвлеченные разговоры, а конкретный пример из жизни. Это стиль Яковлева-педагога: неожиданный, хлесткий пример – и ты задумываешься.

Методисты, чтобы доказать иллюзорность слов Луки, приводят стихи, которые читает Актер. Григорий Наумович обратился к первоисточнику – стихотворению Беранже в переводе Курочкина – и привел финальные строки, которые Горький цитировать не стал: «В Новый мир по безвестным дорогам // Плыл безумец навстречу мечте, // И безумец висел на кресте, // И безумца мы назвали Богом!» Ответ, достойный романтика-шестидесятника. Во-первых, уже потому, что Григорий Наумович всем сердцем разделял мысль, утверждаемую в этих стихах. А во-вторых, потому, что находчиво предъявил последний, самый главный аргумент: кто теперь посмеет обвинять Луку?

Г. Н. Яковлев, как и другие представители его поколения, обладал чувством обостренной ответственности за судьбы страны. Вот почему еще он так отстаивал «поэта и гражданина» Н. А. Некрасова («Ему судьба готовила путь славный, имя громкое…»). Ему близки мысли и чувства Некрасова, который считал долгом каждого порядочного, интеллигентного человека бороться с косностью и равнодушием в обществе и мучился, когда трусость и стремление к комфорту побеждали. Григорий Наумович обратил внимание на поистине удивительное стихотворение Некрасова, написанное как будто кем-то из рефлектирующих шестидесятников в середине XX века.

Но я прошел через цензуру
Незабываемых годов.

На всех, рожденных в двадцать пятом
Году и около того,
Отяготел жестокий фатум:
Не выйти нам из-под него.
Я не продам за деньги мненья,
Без крайней нужды не солгу…
Но – гибнуть жертвой убежденья
Я не могу… я не могу…

Так, благодаря классику середины 19 века, учитель XXI века говорит с учениками о том, что волнует его поколение, – об активной гражданственности – и побуждает ребят задуматься о собственной жизненной позиции.

Статьи Г. Н. Яковлева вызывали живой интерес не только учителей, но и критиков. Так, известный литературовед, профессор РГГУ Г. А. Белая включила фрагменты его статьи в свою последнюю монографию. Мнение Г. Н. Яковлева о «Двенадцати» представлено во всех изданиях учебника-практикума «Русская литература XX века».

Читаешь статьи Григория Наумовича – и испытываешь радость. От того, что правда есть и есть люди, эту правду бесстрашно отстаивающие. К тому же язык статей – прекрасный. Живой, свободный, вдохновенный, эмоционально-плотный, энергичный, временами звенящий от гнева и сочувствия и – полный любви. Может быть, полемический накал статей Г. Н. Яковлева кому-то покажется излишним. Но это свойство шестидесятников – отстаивать свою точку зрения эмоционально, без оглядки вкладывая в это все душевные силы.

Григорий Наумович понял, что, тенденциозно используя классическую литературу, комментируя ее в соответствии с идеологическими соображениями, власть тем самым оправдывает собственную тиранию и утверждает право на убийство «ради высоких целей». В школьную программу включались произведения, в которых жестокость выглядела вдохновенной, а убийство порой было чуть ли не эстетичным. Сам стиль произведений, талантливый, самобытный, опасно очаровывал и убеждал читателя в том, что подлость можно оправдать высшими устремлениями. Убийство Тарасом Бульбой сына, убийство раненого партизана Фролова в «Разгроме», убийство Катьки в «Двенадцати» – такая выстраивается жутковатая цепочка. Григорий Наумович призывал иметь свое мнение, чтобы не стать жертвой навязчивого идеологического зомбирования.

Все эти морозки, «двенадцать апостолов нового мира» (или

все-таки бесов?) удостаиваются от учителя-гуманиста таких строк: «…невежественные, презирающие интеллигенцию, люди невысокой морали и культуры, идущие по земле „без имени святого“, отрицающие, по выражению Левинсона, „злого и глупого Бога“». «Хорошенький» портрет стоящих у кормила власти! И как бы читатель ни относился к принципам и стилю эссе Г. Н. Яковлева, не может не вызвать уважения его активная позиция, умение бороться за свои идеалы.

Книга называется «Спорные истины „школьной“ литературы». Вот она, демократичность учителя и критика-публициста, готовность к диалогу!

Радует жанровое многообразие сборника. Первая статья, «Пушкин против „голиафа“ Фиглярина», – историко-литературная. Прекрасный материал в помощь учителю о Пушкине и его борьбе с Булгариным. Другая статья, «Ай да Пушкин!», – о всевозможных «ляпах», которые допускают авторы школьных учебников, писатели и журналисты, пишущие о классике. Когда дело касается великой литературы, автор встает на защиту истины и выступает против небрежности и искажения смысла. «Свое суждение иметь» – статья методическая. Но сухое это слово не вяжется с увлекательным рассказом о жизни одного класса, о том, как ребята учатся мыслить и отстаивать свое мнение. Слава мудрым и смелым учителям, знающим, как воспитать Личность, которая смеет «свое суждение иметь» и в то же время умеет быть терпимой к мнениям других людей. Слава этим учителям – Дон Кихотам, которые самоотверженно и последовательно ведут ребят по трудному и счастливому пути! А с какой любовью педагог говорит о своих учениках: «мои спорщики», «мои дорогие взрослеющие девочки и мальчики». Господи, если бы каждому повезло с таким учителем, насколько уменьшилось бы в мире количество зла!

…Виталий Коржиков, поэт, известный детский писатель, однокурсник Григория Наумовича, узнав о подготовке настоящего сборника, попросил включить в предисловие следующие слова:

> Гриша Яковлев – с большой буквы Гомо Сапиенс. Это человек, изначально одухотворенный. У него всегда рождается какая-то доброзаряженная мысль. Чем бы он ни занимался, в нем работает умный, добрый, творческий дух. Этот дух в нем никогда не угасал: и когда он был учителем на Северном Сахалине, и когда был солдатом среди вулканов Камчатки. Всегда в нем жил преданный ученик Пушкина, верный литературе с юности. Гриша очень верный человек: своей работе,

которую очень любит, и товариществу, которому очень верен.

Это человек-творец, который постоянно рождает идеи, одухотворяется ими сам и зажигает ими других. Счастливыми обязаны быть ученики, которым достался такой учитель. Вспомним строки Пушкина: «Куницыну дань сердца и вина! // Он создал нас, он воспитал наш пламень, // Поставлен им краеугольный камень, // Им чистая лампада возжена». Любой ученик, по-моему, может сказать эти слова о Грише, потому что он всеми своими убеждениями способен поставить «краеугольный камень» настоящей человеческой жизни и возжечь «чистейшую лампаду».

Мнение Г. И. Беленького, доктора педагогических наук, профессора, главного научного сотрудника Института содержания и методов обучения РАО, ознакомившегося с рукописью Г. Н. Яковлева:

Книга будет интересна прежде всего молодому учителю, незнакомому в той мере, как знаком автор, с некоторыми аспектами литературной жизни в далеком и не столь далеком прошлом.

Не со всеми мыслями автора можно согласиться, но ведь речь-то идет именно о спорных вопросах. Достаточно подумать над ними, взвесить все «за» и «против» и таким образом выработать свою точку зрения…

Как жаль, что я уже не могу сесть за парту в классе Григория Наумовича! Но я могу открыть сборник его статей. И снова зазвучит солнечный голос Учителя, и каждое слово окрыляет и дает возможность снова поверить в добро и справедливость!

Н. Ю. Богатырева, к. филол.н. (*МПГУ*)

Пушкин против «Голиафа Фиглярина»

О, сколько лиц бесстыдно бледных,
О, сколько лбов широко-медных,
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать.

А. С. Пушкин

…Его Величество, будучи уверен в преданности Вашей, всегда расположен оказывать Вам милостивое свое покровительство.

Из письма шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа Ф. В. Булгарину

Жаркое лето тридцать первого года

Летом 1831 года Александр Сергеевич с прелестной Натали спасался от зноя на даче Китаевой в Царском Селе, недалеко от Лицея, и готовился отпраздновать девятнадцатилетие своей «мадонны». Но небо было безоблачным, может быть, только над Царским Селом, где поэт мечтал отдохнуть душой и телом «в уединении вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний» (письмо Плетневу от 26 марта 1831 года). Рядом, в Петербурге, – буйство холеры, в Польше – восстание, во Франции – антирусские выкрики и угрозы (не было бы войны!). Финансовые дела Пушкина расстроены. Долги, долги… Нет, от политики и от быта никуда не уйдешь. Великое и малое волнует, и всё, вероятно, достойно поэзии. Молодая жена аккуратно переписывает набело еще никому не известные строки:

И роди богатыря
Мне к исходу сентября…

И вдруг – проза. Стремительным пушкинским почерком многократно выведенная фамилия – Булгарин. Кто такой Булгарин? Почему даже здесь, на вожделенном отдыхе, в Царском Селе, Пушкин не может не думать об этом человеке!

Фаддей Венедиктович Булгарин – едва ли не самая одиозная фигура в истории русской литературы. Ловкий делец от журналистики, на бесчестную голову которого были обрушены десятки беспощадных эпиграмм лучшими поэтами, среди которых имена Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Некрасова. Холуй, доносчик, брезгливо поощряемый державными хозяевами, презирающими его. Кто же он?

Выходец из польских дворян, Булгарин после раздела Полыни оказался подданным России. Служил сначала в русской армии, а в грозовом 1812 году – в армии Наполеона. В 1814 году во Франции взят в плен немцами и возвращен в Варшаву. В 1819 году появляется в Петербурге и, числясь «отставным французской службы капитаном», провозглашает себя литератором и русским патриотом, либералом (модно), старается расположить к себе Грибоедова, Рылеева, но в то же время еще до восстания 14 декабря подлаживается к правительству, а после разгрома восстания, страшно перепуганный, становится тайным агентом Третьего отделения и неустанно всю жизнь строчит доносы – на Пушкина, Вяземского, Погодина и многих других, вплоть до

Некрасова, обвиняя их то в неблагонадежности («…чванится пред чернью вольнодумством» – о Пушкине), то в антипатриотизме, литературном аристократизме и проч. Он рьяно защищает основы политического строя и создает «массовую культуру»: выпускает один за другим низкопробные верноподданнические романы о Выжигиных, за которые получает в награду по бриллиантовому перстню от царя. Впрочем, не гнушается ничем: издает под своим именем книгу профессора Н. А. Иванова, служит в министерстве просвещения и в государственном коннозаводстве. Многие годы Булгарин вместе с Н. И. Гречем (также связанным с Третьим отделением) издавал единственную в России политическую и самую многотиражную газету «Северная пчела», журналы «Северный архив», «Сын отечества», оказывая влияние на идеологию и психологию тысяч читателей. «Фиглярин» благополучно дожил до 70 лет и умер в 1859 году в чине действительного статского советника (чин, которого удостаивались губернаторы России), нажив к тому времени громадный капитал.

Пушкин, естественно, был антиподом Булгарина и мешал ему своим существованием, своим образом мыслей, деятельностью, талантом, и журналист не стеснялся в выборе оружия против поэта и его единомышленников: пасквильные фельетоны («китайские анекдоты») и прямые доносы, порочащие намеки и оскорбления в печати – все шло в ход с благословения властей предержащих. «…Он продает свои сальные пасквили из-под порфиры императорской», – возмущался Пушкин (письмо П. А. Вяземскому от 1 июня 1831 года). Поэт не оставался в долгу: отвечал остроумными эпиграммами и разоблачительной статьей «О записках Видока», помещенной в «Литературной газете». Видок – французский сыщик, в прошлом палач, дезертир и уголовный преступник. Воспользовавшись сходством биографических черт Булгарина и Видока, Пушкин раскрыл сущность подлой натуры продажного журналиста, напомнил о его связи с Третьим отделением. Видоком и Фигляриным Пушкин называл Булгарина и в эпиграммах, ходивших по рукам. «Полицейский Фаддей», «сволочь нашей литературы», «шпионы-литераторы» – так именует он Булгарина и Греча в письмах. Нарастает страстное желание пригвоздить негодяев к позорному столбу. В мае 1830 года Пушкин пишет Плетневу: «Руки чешутся, хочется раздавить Булгарина… У меня есть презабавные материалы для романа: „Фаддей Выжигин“: Теперь некогда, а со временем можно будет написать это». И час настал. Есть повод для выступления. Пушкин держит в руках недавно вышедшие книги: новый роман Булгарина «Петр Иванович Выжигин» и три

лубочных романа А. А. Орлова, пародирующие «Выжигиных» Булгарина.

Рождение Косичкина

Одновременным выходом в свет изделий Булгарина и Орлова воспользовался Н. Надеждин – умный издатель журнала «Телескоп». В № 9 своего журнала за 1831 год он, сравнив их, сделал задиристый вывод, что произведения Орлова лучше. Это серьезно задевало самолюбие Фаддея: Орлов был всеми признан базарным писакой, над ним смеялись. В защиту «журналами обиженного жестоко» сообщника немедленно выступил Греч («Сын отечества», № 27 за 1831 год). Куря фимиам Булгарину, Греч, между прочим, говоря о романе Загоскина «Рославлев», сделал ядовитую сноску: «…перед которым издатель „Телескопа“ растянулся плашмя, потряхивая косичкою». Не раз приходилось Надеждину слышать насмешки над его недворянским происхождением, над его «косичкой» (он был сыном дьякона, окончил семинарию и духовную академию). «…Потряхивая косичкою» – прочел Пушкин в журнале Греча и подумал, вероятно: «Что ж, вот и псевдоним». Впрочем, это моя версия.

И вскоре вместо издателя с «косичкой» на арену вышел Феофилакт Косичкин, продолжавший с несравненно большим успехом дело, начатое Надеждиным. Имя тоже было выбрано не случайно. Феофилакт – в переводе «Богом хранимый». Никому не ведомый автор, видимо, только с Божьей помощью надеялся одолеть столь коварного и опытного противника, как Булгарин. В то же время псевдоним в целом настраивал читателя на веселый лад благодаря несоответствию грозного и величественного по звучанию «Феофилакта» мелкому и простоватому «Косичкину». И это было своеобразной подготовкой читателя к осмеянию Фаддея. Имя неизвестного Ф. Косичкина позволяло Пушкину не только судить о книгах, которых, по его словам, «образованный класс читателей не читает», но и прямо и грубо называть вещи своими именами и даже, если надо, грозить кулаком. Конечно, роль Косичкина – пародийная. Пародирует же он литературные приемы, стиль высказываний и формы общения Булгарина и Греча.

«Блистательные солнца нашей словесности»

Первая статья Косичкина – «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» – появилась в журнале «Телескоп» № 13 в августе 1831 года. Автор с витиеватостью шекспировского Полония превозносит и Булгарина, и Греча, и, разумеется, Орлова, которого взялся защищать от нападок Греча. Он восторгается «взаимным уважением» издателей «Северной пчелы», «сходством душ и занятий гражданских (связь с Третьим отделением? – *Г. Я.*) и литературных». Но сладкая дымка фимиама все резче пронизывается лучом отнюдь не безобидной пушкинской иронии, сдобренной россыпью многозначительных намеков на известные факты. Так, Булгарину противопоставляются благородные писатели, «не переметчики, для коих ubi bene, ibi patria[2], для коих все равно: бегать ли под орлом французским или русским слогом позорить все русское – были бы только сыты».

Косичкин бьет врага его же оружием, не пренебрегая принципом «сам съешь», по поводу которого Пушкин как-то заметил: «„Сам съешь“ есть ныне главная пружина нашей журнальной полемики». Вы обвиняете меня в отсутствии патриотизма – и то слащаво, то высокопарно разглагольствуете о «нашей родимой Москве», о «матушке Москве» и России? А сами-то, сами: «Не в первый раз заметили мы сию странную ненависть к Москве в издателях „Сына отечества“ и „Северной пчелы“. Больно для русского сердца слушать таковые отзывы о матушке Москве, о Москве белокаменной, о Москве, пострадавшей в 1812 году от всякого сброду». Это – Косичкин, и это – пародия. Нельзя заподозрить Пушкина в национализме; достаточно вспомнить эпиграмму на Булгарина: «Не то беда, что ты поляк…»

Излюбленным аргументом издателей «Северной пчелы» в пользу «талантливости» Булгарина была ссылка на то, что «Иван Выжигин» разошелся в огромном количестве экземпляров. Так нате же, возглашает Косичкин: 5000 книжек Орлова, «разделяющего с Фаддеем Венедиктовичем любовь российской публики», раскуплены читателями. Разве не ясно, что Булгарин и Орлов – гении, «сии два блистательные солнца нашей словесности»? «Одаренность» Булгарина, например, подтверждается тем, как легко распознать по фамилиям сущность его героев: Вороватин, Глупашкин, Миловидин и т. п. К тому же в книгах одного гения – «пленительная щеголеватость выражений»,

а у другого – «замысловатость». Правда, следует крохотная оговорка: существует «образованный класс читателей, которые гнушаются и теми и другими». В таком духе развенчивающего панегирика написана вся статья, не отличающаяся добродушием, но, пожалуй, еще и не убийственная. Это скорее напоминание и предупреждение.

Неприятно, когда тебя, признанного определенной публикой и поощряемого Его Величеством литератора, ставят в один ряд с каким-то ничтожным Орловым. Но ведь этим дело не ограничивается, «…со всем тем Александр Анф. пользуется гораздо меньшею славою, нежели Фаддей Венед. Что же причиною сему видимому неравенству?» – вопрошает Косичкин и отвечает: «Оборотливость, любезные читатели, оборотливость Фаддея Венедиктовича, ловкого товарища Николая Ивановича!» Все дело, оказывается, в оборотливости, а точнее – в непорядочности, в человеческой и журналистской нечистоплотности «ловких» приятелей. В отличие от них А. А. Орлов не пускался во все тяжкие:

> Он не задавал обедов иностранным литераторам, не знающим русского языка, дабы за свою хлеб-соль получить местечко в их дорожных записках.
>
> Он не хвалил самого себя в журналах, им самим издаваемых. Он не заманивал унизительными ласкательствами и пышными обещаниями подписчиков и покупателей.
>
> Он не шарлатанил газетными объявлениями, писанными словами афиш собачьей комедии.
>
> Он не отвечал ни на одну критику; он не называл своих противников дураками, подлецами, пьяницами, устрицами и тому подобное.

Ах, как хочется здесь остановиться и провести аналогии с литературными нравами нашего времени, но… «вернемся к нашим баранам», как говаривал классик. Так вот какими способами добивались популярности и тиражности восхвалявшие друг друга издатели, меркантильная «дружба» которых была высмеяна и Крыловым в басне «Кукушка и Петух». Косичкин же «оправдал» Орлова и всласть посмеялся над Булгариным.

Мизинец или кулак?

Статья наделала много шуму. Автора угадали без труда. Н. В. Гоголь в письмах советовал, как дальше вести полемику. С интересом ждали продолжения, и оно вскоре появилось. 9 сентября 1831 года Пушкин побывал в Петербурге, познакомился с большой пасквильной статьей Булгарина, направленной против него, и узнал о других выпадах «Фиглярина». А тут еще язвительный Петр Вяземский подлил масла в огонь: «Кинь это в „Литературную газету“: „В конце длинной статьи, написанной в защиту и в оправдание Булгарина, критикованного „Телескопом“, г-н Греч говорит: „Я решился на сие не для того, чтоб оправдывать и защищать Булгарина (который в этом не имеет надобности, ибо у него в одном мизинце более ума и таланта, нежели во многих головах рецензентов)“… на этом мизинце можно погулять и хорошенько расковырять им гузно. Что за лакеи!» Пушкин отвечал Вяземскому: «Твое замечание о Мизинце Булгарина не пропадет, обещаюсь тебя насмешить…» Вернувшись в Царское Село, он на первом попавшемся клочке бумаги стал делать наброски…

Вторая статья Феофилакта Косичкина называлась «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем». Она острее и злее первой, о Булгарине тут не сказано ничего положительного даже в ироническом тоне. Теперь оскорблен не Орлов, а Косичкин – Пушкин, которому наряду с Надеждиным грозит, как следует из статьи, мизинчик Булгарина. Орлов практически выводится из игры, а Косичкин круто характеризует Фаддея: зависть, корыстолюбие, лживые доносы, богатство плута, чины негодяя, известность шарлатана; и еще словесные оплеухи: глупец, задорный марака, наглец, фигляр. Лицемерному Гречу тоже досталось, но главный объект пушкинской сатиры – Булгарин.

В заключение статьи Косичкин объявляет о существовании романа, который «поступит в печать или останется в рукописи, *смотря по* обстоятельствам» (курсив Пушкина. – *Г. Я.*), т. е., очевидно, в зависимости от поведения пасквилянта и от отношения цензуры. Сообщается план этого романа под названием «Настоящий Выжигин», построенный по образцу оглавления первой части «Ивана Выжигина». И вроде бы пункты планов схожи по содержанию. Вот первый у Булгарина: «Сиротка, или Картина Человечества во вкусе фламандской школы». И в первой главе чувствительно описывается «сиротка» Выжигин, единственным другом которого была собака Кудлашка. Первый пункт пушкинского плана – «Рождение Выжигина в кудлашкиной

конуре» сразу снимает сентиментальный налет с рассказа о герое. Все дальнейшее – блестящая пародия на обычную композицию «полицейских» (выражение Белинского) романов Булгарина. Утверждаю это как вынужденный читатель его опусов. Подзаголовок («Историко-нравственно-сатирический роман XIX века») напоминает о типе творений графомана. Основной персонаж, как всегда в любовно-авантюрных романах Булгарина, – плут, пройдоха, негодяй. Но весь фокус в том, что (о, ужас!) каждый пункт объявленного плана намекает на факты личной и политической жизни благонамеренного журналиста. А факты крайне неприглядные. Несколько примеров.

> *Глава II.* Первый пасквиль. Гарнизон.
>
> *Глава III.* Драка в кабаке. Ваше благородие! Дайте опохмелиться!
>
> *Глава IV.* Дружба с Евсеем. Фризовая шинель. Кража. Бегство.

Полковник Д. М. Спечинский рассказывал Пушкину, что Булгарин, «за что-то» разжалованный в солдаты, во время пребывания в Ревеле много пьянствовал. Он украл у камердинера Спечинского шинель и пропил ее. Красочно описывает будущего дельца друг Пушкина П. В. Нащокин: «…он выходил на городской бульвар, где с опухлой, безобразной рожей протягивал гуляющим руку, прося милостыни, хотя неодинаково с прочими, но в вычурных литературных оборотах». Внушительны названия следующих глав обещанного Косичкиным произведения:

> *Глава V.* Ubi bene, ibi patria.
>
> *Глава VI.* Московский пожар. Выжигин грабит Москву.
>
> *Глава VII.* Выжигин перебегает.

Итак, герой многих романов Булгарина (кстати, отчасти автобиографических) и он собственной персоной сливаются в единый образ и предстают в сатирическом ракурсе. А уж общественно-политическая биография Булгарина в литературных кругах была многим знакома. Но вот еще некоторые главы якобы готового романа:

> *Глава XIII.* Свадьба Выжигина. Бедный племянничек! Ай да дядюшка!

«Бедный племянничек» – декабрист Д. А. Искрицкий, выданный полиции своим верноподданным дядюшкой Фаддеем.

Глава XIV. Господин и госпожа Выжигины покупают на трудовые денежки деревню и с благодарностью объявляют о том почтенной публике![3]

За что же благодарит Булгарин одураченную публику? За то, понятно, что она щедро платит деньги за его писания. Слышится здесь и упрек (или досада), обращенный Пушкиным к той малокультурной, неразборчивой публике, о которой однажды заметил: «А кажется, Булгарин так для нее создан, а она для него, что им вместе жить, вместе и умирать». Вновь напрашиваются ассоциации, но оставлю в покое нынешних поклонников «Дикой Розы»…

Глава XV углубляет саркастическую характеристику журналиста, нечистоплотного как в домашнем быту, так и в общественной деятельности: «Семейственные неприятности. Выжигин ищет утешения в беседе муз и пишет пасквили и доносы». За этим следует оглушительный удар – прямое отождествление в печати Булгарина с Видоком – и в какой форме!

Глава XVI. Видок, или Маску долой!

Этим сразу расшифровывалась направленность статей и стихотворений Пушкина, в которых, говоря якобы о гнусном Видоке, поэт разил Булгарина. Столь знакомая ему кличка «Видок» раздалась как пощечина и как финал приговора. Осталось только добавить громогласное «Dixi!» («Я сказал!»). Но оно уже прозвучало в статье после торжественно произнесенной с использованием старославянизмов угрозы кулаком как победный аккорд: «Полагаю себя вправе объявить во всеуслышание всей Европы, что я ничьих мизинцев не убоюсь, ибо, не входя в рассмотрение голов, уверяю, что пальцы мои (каждый особо и все пять в совокупности) готовы воздать сторицею кому бы то ни было. Dixi!»

По следам Косичкина

Пушкина-поэта и Пушкина-прозаика знают с детства, Пушкин-полемист мало кому знаком. Слышали и читали о «николаевской реакции», о Наталье Николаевне и Дантесе, о последних днях и дуэли Пушкина, а об острейшей борьбе его с отравлявшей жизнь «сволочью нашей литературы», с насаждавшимся торгашеским духом, с безнравственностью в журналистике написано чрезвычайно мало. А жаль: разве два памфлета Косичкина не шедевры русской сатиры? Разве не дают они представления о взглядах, натуре и многогранности таланта истинно великого человека? Тут разработан целый ряд полемических приемов, подхваченных знаменитыми писателями и критиками: сочетание в одной статье серьезного тона, документализма со всеми оттенками иронии, с сарказмом, незаслуженное восхваление со смехотворными аргументами, остроумное видоизменение формулировок противника, доводящее его высказывания до абсурда, эзоповский язык, пародия смысловая и стилевая и многое, многое другое. Ироническую критику Булгарина и Греча с повторением намеков и явным использованием некоторых приемов Феофилакта Косичкина и даже его стиля найдем в «Литературных мечтаниях» Белинского (1834 год) и других его статьях. Как не вспомнить и гоголевскую манеру сопоставления Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем (1835 год), напоминающую о Косичкине, в создании образа которого писатель так хотел участвовать? Есть несомненные переклички с Косичкиным и в работах Герцена, высоко ценившего эти памфлеты. Да и пародийный Козьма Прутков позаимствовал кое-что у Косичкина. А ведь всего-то две небольшие статейки, практически неизвестные современному читателю… Но их автор – Пушкин!

Пустить себе кровь

А что же Булгарин? Опытный делец и журнальный «Зоил», он был уязвлен и сильно напуган. Пушкин публично высек его, сорвал с него маску благопристойности, да еще и погрозил опубликовать разоблачительный роман о нем. И оглавление романа готово, и компрометирующие факты собраны… Кто мог поручиться, что роман «Настоящий Выжигин» не выйдет в свет? Тогда – крах. «Известно было впоследствии, – сообщает П. В. Нащокин, – что Булгарин, прочтя оное оглавление в „Телескопе“, вынужден был пустить себе кровь». В 1831 году он осмелился сделать лишь один публичный выпад против Пушкина.

А Орлов? Он пушкинскую «защиту» простодушно принял всерьез, прислал благодарственное письмо и хотел было ввязаться в полемику, но Пушкин, продолжая игру и отвечая с легкой иронией, благоразумно поспешил отсоветовать: «Даю вам слово, что если они чуть пошевельнутся, то Ф. Косичкин заварит такую кашу или паче кутью, что они ею подавятся».

Мне хотелось бы закончить свой рассказ эмоциональным высказыванием Белинского, явно навеянным незабываемыми статьями Феофилакта Косичкина: «…что за блаженство, что за сладострастие души сказать какому-нибудь выходцу бог весть откуда, какому-нибудь пройдохе и Видоку, какому-нибудь литературному торгашу, что он оскорбляет собою и эту словесность, которой занимается, и этих добрых людей, кредитом коих пользуется, что он надругался над святостью истины и над святостью знания, заклеймить его имя позором отвержения, сорвать с него маску, хотя бы она была и баронская, и показать его свету во всей его наготе!»

Пушкин же удовлетворенно резюмировал итог борьбы: «… мой камешек угодил в медный лоб Голиафу Фиглярину».

Неожиданное послесловие

Тут бы и поставить точку. Ан нет! Голиаф, вспомним, грозил существованию целого народа и был побежден силою духа легендарного Давида. Омерзительный Булгарин, оказывается, до сих пор не побежден. Нет-нет, да кто-нибудь пытается водрузить его неуклюжую фигуру на пьедестал, представить пигмея чуть ли не гигантом в литературе и «отцом русской демократии». В 1991 году издательство «Современник» отметило двухсотлетие корифея словесности стотысячным тиражом любовно изданного, с золотым тиснением, пухлого тома его сочинений. Да бог с ним, с этим томом: может быть, и надо было кое-что переиздать для интересующихся, для исследователей, правда, не столь шикарно и не в таком количестве, но и с этим можно смириться. Но ведь сопроводили же это издание большой вступительной статьей Н. Н. Львовой (она же составитель), в которой взахлеб превозносятся достоинства этого господина: «выдающаяся личность», «интересный, загадочный человек», «автор, стоящий у истоков рождения русского исторического романа», его сюжет «не уступает лучшим страницам А. Дюма» (уж не тот ли сюжет «Дмитрия Самозванца», который Булгарин бесцеремонно позаимствовал из неизданного пушкинского «Бориса Годунова», неофициальным цензором которого он был?) и т. п. Разумеется, ни резких отзывов современников о Булгарине, ни эпиграмм Львова не приводит. Уж очень хочется ошарашить читающую публику сенсационным открытием.

Вот и Л. Коренев в июле 1994 года в газете «Сегодня» решил, видимо, встретить приближающийся всенародный праздник – юбилей Пушкина – реабилитацией его врага и завистника. Помилуйте, уверяет нас Коренев, не был Фаддей Венедиктович агентом Третьего отделения (бумажками, что ли, не подтверждено?). И против России не воевал. Вспоминаются, правда, стихи Лермонтова:

> Россию продает Фаддей
> Не в первый раз, как вам известно…

Но известно было это его современникам: Пушкину, Вяземскому, Баратынскому, Лермонтову и другим, надо думать, непосвященным лицам, а некоторые нынешние товарищи полагают иначе. Ну и пусть полагают. По их мнению, и политически, и нравственно издатель «Северной пчелы»

(«поборник гласности» – по Кореневу) вполне респектабелен. Вот только характерец имел неважный: «Попросту характер имел он склочный и едкий ум», – оговаривается Коренев. Вот и все. Только за это его, бедненького, и не любили. Не стану сейчас спорить с эдакой «простенькой» кухонной концепцией. Лучше приведу еще одну, последнюю, цитату – из малоизвестного письма Николаю I вовсе не воинственно и не революционно настроенного человека – милого Василия Андреевича Жуковского: «…с Булгариным у меня нет и не может быть ничего общего ни в каком отношении… я очень искренне сказал ему в лицо, что не одобряю того торгового духа и той непристойности, какую он ввел в литературу, и что я не мог дочитать его „Выжигина“». Это было написано 160 с лишним лет назад, но «жив курилка»! И с грустью, и с досадой приходится признать, что и поныне находятся рецензенты и публикаторы, оценивающие достоинство произведения и талант автора исключительно по коммерческому успеху его книги, по спросу на рынке. Расторопный делец и один из действительных основоположников «массовой», псевдонародной, оболванивающей «культуры», Булгарин породил неистребимую армию литературных уродов, популистских имитаторов, от которых нет спасения до сих пор. Но сколько нашумевших бестселлеров-однодневок не без помощи славных Косичкиных безвозвратно кануло в Лету! Туда им и дорога. Теперь, пожалуй, и я осмелюсь сказать: «Dixi!» Пока все.

«Ай да Пушкин!»

Приятно иметь дело с учеными людьми. От них всегда можно узнать что-нибудь необычное. В. Осокин, например, в книге «Перстень Веневитинова» сообщает: «В сентябре 1826 года в Москву приехал Пушкин. Николай I, вступивший на престол, „милостиво“ освободил его из ссылки в Михайловское, куда семь лет назад отправил его Александр I». Есть над чем задуматься. Ведь каждый школьник знает, что в Михайловское Пушкин был сослан не в 1819 году (тогда он находился еще в Петербурге), а в 1824-м.

Аннотация к книге заманчиво обещала, что автор познакомит «с событиями из жизни известных деятелей искусства, которые рисуют их с новой, почти неведомой ранее стороны». Читая прозу, критику и публицистику последних лет, я не раз вспоминал слова этой аннотации, предваряющей книжку, которая представила мне классиков действительно с «неведомой стороны». В данном случае, как я сказал, любой старшеклассник может поправить автора. А что делать бедному школьнику, когда его обманывает авторитетнейший учебник? В нем на протяжении многих лет, из издания в издание, упорно заверяют мальчиков и девочек, что Лев Толстой осиротел в тринадцатилетнем возрасте: «В 13 лет он потерял и отца». Поможем же автору, написавшему главу о Л. Н. Толстом, сделать несложные арифметические выкладки. Лев Толстой родился в 1828 году. Его отец умер в 1837 году. Следовательно, будущему писателю было 9 лет.[4]

Хрестоматийным стал пример бурного пушкинского «самовыражения», когда он завершил работу над любимым детищем своим – «Борисом Годуновым». Около 7 ноября 1825 года он написал другу П. А. Вяземскому: «Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай-да Пушкин, ай да сукин сын!» Это не из рассказов, не из легенд о Пушкине, это документ, причем многократно опубликованный. Ссылаются на него охотно, но пересказывают кто во что горазд. Так, одному из самых читаемых и заслуженно почитаемых журналистов пушкинские слова показались, видимо, слишком резкими, и он решил прибегнуть к эвфемизму, смягчив и «облагородив» простодушно-грубоватый, но чрезвычайно экспрессивный и естественный тон дружеского послания. Я имею в виду В. Пескова, написавшего в «Комсомольской правде»: «Давний житель Михайловского, поставив последнюю точку в одном из трудов, созданных в деревеньке, радостно восклицал: „Ай да Пушкин, ай молодец!“» Чувствуете разницу? Другой солидный автор,

создатель учебника «Психология», желая подчеркнуть взрывчатую эмоциональность обладателя африканского темперамента, не удовольствовался битьем в ладоши да радостными выкриками и заставил поэта лихо отплясывать: «Известно, например, что, закончив трагедию „Борис Годунов“, А. С. Пушкин так радовался и ликовал, что пустился в пляс, приговаривая „Ай да Пушкин!“». Воображение у психолога В. Крутецкого работает на славу…

А как цитируют великого поэта! Вот Андрей Вознесенский («Новый мир», № 11, 1982): «В хрустальной морозной пушкинской строфе 1829 года замерли крохотные „о“, как незабвенные пузырьки шампанского:

Мороз и солнце…
Открой сокрыты негой взоры…»

На самом деле крохотные «о» замерли у Пушкина не в слове «сокрыты», а в слове «сомкнуты».

Другая цитата, на сей раз из «Учительской газеты»: «…строки из письма Татьяны „и буду верная супруга и добродетельная мать“ нуждаются в серьезном анализе». И подпись: «С. Курылева, член Союза писателей СССР».

Но как можно «серьезно анализировать» слова, которых нет в романе? Ведь Татьяна Ларина на самом деле пишет Онегину: «… была бы верная супруга и добродетельная мать». Неужели и эти оттенки смысла и интонации не имеют значения?

Справедливости ради скажем, что, цитируя, искажают не одного только Пушкина. «Расплачиваются» и другие ни в чем не повинные классики. Ограничусь двумя примерами.

О Сергее Есенине: «Вместе с тем в нем суровая, бескомпромиссная оценка своей собственной жизни: „Теперь там достигли цели. Дорога моя ясна…“» (Ю. Прокушев «Вечный жанр»). Но в той же книге эта строка из поэмы «Анна Снегина» приведена верно: «Теперь там достигли силы…» Д. Устюжанин в журнале «Литература в школе» следующим образом цитирует «Письмо Татьяне Яковлевой» Владимира Маяковского:

Я не люблю
        парижскую любовь:
любую самочку
        шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
        сказав —
                тубо —
собакам

озверелой страсти.

Однако Маяковский написал не «озверелой страсти» (совершенно безграмотное выражение), а «озверевшей страсти».

Думаю, что примеров достаточно. Когда я встречаю подобное (а это, увы, бывает нередко), испытываю чувство неловкости, обиды и беспокойства. Ведь не легкомысленные люди берутся за перо, а пользующиеся несомненным авторитетом (я назвал известные имена). Да и редакторы, видимо, народ образованный. Так чем же объяснить такую небрежность в манипулировании историческими фактами или в воспроизведении того единственного слова, ради рождения которого поэт извел «тысячи тонн словесной руды»?

Изучать ли в школе «Тараса Бульбу»?

А поворотись-ка, сын!

Н. В. Гоголь «Тарас Бульба»

Не исключено, что, прочтя мою статью, против меня восстанут ревнивые литературоведы и ценители гоголевского таланта: «Как! Он поднял руку на самого Гоголя!» Успокойтесь, дорогие ревнители и ценители! Боже упаси меня поднимать руку на великого творца, на замечательного писателя, жившего в другое время, в иных условиях. Речь пойдет, как следует из заголовка статьи, лишь о конкретной проблеме.

Николай Васильевич не обойден школьными программами: его произведения детально изучаются в каждой параллели – с 5-го по 9-й класс. Повесть «Тарас Бульба» рассматривается в 7-м классе (по программе М. Б. Ладыгина – в 6-м). В учебнике-хрестоматии для 7-го класса (составитель В. Я. Коровина) нет отрывков из «Тараса Бульбы», ученикам дается задание самостоятельно прочесть повесть целиком, без сокращений, причем реакция юного читателя предрешена и подсказана: «Итак, мы надеемся, что повесть Гоголя вам понравилась».

Что же прочтет и как воспримет это современный двенадцати– или тринадцатилетний подросток? Разумеется, педагог ему поможет заметить патриотические речи и мужественные поступки героев, великолепные описания, изумительный язык и другие безусловные достоинства героико-романтической повести. Но вдумчивый читатель, изучающий текст, не может не обратить внимания и на другие стороны, прежде всего морального порядка, ибо едва ли можно рассматривать «Тараса Бульбу» как исторический роман (Н. Степанов) или иллюстрацию к реальным событиям хотя бы уже потому, что Гоголь, прекрасно знавший историю России и Украины, почему-то отнес описываемые события к XV веку, тогда как они могли происходить лишь в XVI веке, на что указал еще Белинский (Александр Слонимский считал это ошибкой писателя). Следовательно, здесь главное – не историческая достоверность, а воспитательный заряд, в первую очередь ради которого и включается творение Гоголя в школьную программу. Посмотрим с этой точки зрения на некоторые высказывания автора и действующих лиц, на поступки героев. Заранее приношу извинения за обилие цитат, без которых мои утверждения могут показаться голословными.

Кто такие запорожцы и что их объединило, по словам Гоголя? Это разношерстный народ, включающий и свободолюбивых борцов, мастеров на все руки, умельцев, и уголовников, и разного рода халявщиков, выражаясь по-современному. А объединяла их «общая опасность и ненависть против нехристианских хищников». Однако в повести описываются не завоевательные действия «нехристей», а борьба казаков против поляков. Поляки – католики, те же христиане, славяне. И, между прочим, «короли польские… поняли значенье козаков и выгоды таковой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили сему расположению». Так в чем же дело? А в том, во-первых, что запорожцы по определенным причинам кругом в долгах и ощущают потребность в поисках какого-то способа, чтобы расправиться с кредиторами и таким образом не только избавиться от долгов, но и мародерски нажиться, грабя и кредиторов, и неповинное мирное население. «Еще и теперь у редкого из них не было закопано добра – кружек, серебряных ковшей и запястьев…» «А сколько всякий из них пропил и прогулял добра, ставшему бы другому на всю жизнь, того и счесть нельзя…» И, во-вторых, дело в том, что казаку по природе непременно нужна война, причем среди запорожцев немало было тех, кому «всё равно, где бы ни воевать, только бы воевать». Войну затевает и раздувает сам Тарас Бульба: «Он всё придумывал, как бы поднять Сечь на отважное предприятие…» Мирная жизнь не устраивала Тараса, но воевать с иноверцами – с турками, татарами, – нельзя: заключен мирный договор, казаки связаны клятвой (кошевой: «Мы обещали султану мир». Бульба: «Да ведь он бусурман: и Бог, и Святое Писание велит бить бусурманов»).

Разными уловками, хитростями, демагогией Тарасу удается добиться отстранения миролюбивого и честного кошевого и разжечь войну с «бусурманами». Запорожцы празднуют избрание нового предводителя: «Винные шинки были разбиты; мед, горелка и пиво забирались просто, без денег; шинкари были уже рады и тому, что сами остались целы». Увы! Веселящиеся пьяные громилы перекочевали и в XX, да и в XXI век. Но вернемся к запорожцам. Новый кошевой в «красноречивой, витиеватой речи» (В. Белинский) поддакивает Бульбе: «без войны не можно пробыть», ибо «почти всё пропили» казаки. Решение принято, но прежде всего собравшиеся кидаются расправиться с евреями (как всегда, во всем виноваты они), а уж потом устремляются в Польшу – «отмстить за всё зло и посрамленье веры и козацкой славы, набрать добычи с городов, зажечь пожар по деревням и хлебам…» Война пойдет не столько с войском польским, сколько с мирным населением.

Для Тараса Бульбы врагов определяли в первую очередь национальность и вера. На протяжении повести мелькают выражения: «татарва», «рассобачий жид», «нечистый жид», «проклятые недоверки», «перевешать всю жидову», «перетопить их всех, поганцев, в Днепре» – и это не только из уст запорожцев, а и в авторской речи: «побуждаемые сильною корыстию жиды, армяне и татары»; «высокий и длинный, как палка, жид, высунувши из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом»; «позорное владычество жидовства на христианской земле»; Янкель «сильно означил свое жидовское присутствие в той стране», «силился подавить в себе вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида»; говорят евреи «на своем тарабарском наречии». Если всего этого мало, то еще одна цитата: «…толпа ринулась на предместье с желанием перерезать всех жидов. Бедные сыны Израиля, растерявши всё присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жидовок; но козаки везде их находили». Не поздоровится «сынам Израиля» от этих саркастически хлестких описаний, характеристик, выражений. Зато какой бальзам для души черносотенцев всех времен и благодарность от них авторам программ и учебников!

В статьях о повести Гоголя, как правило, приветствуется (и справедливо) идея братства русского и украинского народов, но не будем забывать, что Россия всегда была и остается многонациональным государством и возвышать одни народы, унижая и оскорбляя другие, непозволительно. Взаимоотношения народов России и бывшего Союза – острая злободневнейшая проблема, и призыв Тараса «чтобы по всем свету разошлась и везде была бы одна святая вера, и все, сколько ни есть бусурманов, все бы сделались христианами» звучит в наши дни как опасное подстрекательство.

Л. Н. Толстой в статье «О Гоголе» заметил: «Но как только хочет он писать художественные произведения на нравственно-религиозные темы или придать уже написанным произведениям несвойственный им нравственно-религиозный поучительный смысл, выходит ужасная, отвратительная чепуха…»

Однако погромы, садизм, издевательства – всё это коснулось не только евреев: «Пожары обхватывали деревни; скот и лошади, которые не угонялись за войском, были избиваемы тут же на месте… Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колена у выпущенных на свободу…» И во всех этих злодеяниях, не знающих меры и предела, ведущую роль играет

герой повести Тарас Бульба, для которого «одним из главных достоинств рыцаря» были подвиги «в ратной науке и бражничестве».

Его дело – война. Как семьянин он едва ли может служить примером. Заботливой жене, с которой он виделся всего два-три дня в году, Тарас успевал нанести оскорбления и побои: «Да пропади она…» При встрече после долгой разлуки с сыновьями он устраивает «испытательное» мордобитие с ними и непечатно бранит такую «дрянь», как «академия, книжки, буквари и философия». Предательство отвратительно, но застрелить своего сына и отказаться (несмотря на просьбу Остапа) по-христиански предать его тело земле – поступок, который в советских учебниках всегда трактовался как образец истинного патриотизма и силы духа, – можно объяснить, но трудно принять душой и сердцем. Подобные поступки и идеи весьма импонировали пропагандистам времен коммунистического тоталитаризма. Павлики Морозовы, Любови Яровые, Марютки предавали, убивали, отдавали на растерзание мужа, сына, отца, любимого во имя идеи, нередко ложной, и прославлялись как герои. Но сейчас, кажется, проблема чувства и долга решается не всегда классически прямолинейно – другая эпоха.

Невозможно без содрогания читать о средствах, которыми пользуется непримиримый и агрессивный полковник Бульба, воюя с жителями городов и деревень. Он и прежде «самоуправно входил в села… сам с своими козаками производил расправу», а после гибели Остапа «даже самим козакам казалась чрезмерною его беспощадная свирепость и жестокость». Вот уже закончилось противоборство: казаки заключили мир с поляками. Страсти утихли, и лишь один наш герой со своим полком продолжал бесчинствовать. Последняя цитата из повести: «А Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег восемнадцать местечек, близ сорока костелов… разграбил богатейшие и лучшие замки; распечатали и поразливали по земле козаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах; изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. „Ничего не жалейте!“ – повторял только Тарас. Не уважили козаки чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями… Но не внимали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя». Неужели ко всему этому читающие дети останутся равнодушными и должны будут сладко воспевать героического Тараса?

Вот некоторые очень существенные стороны изучаемого в 6-м

или 7-м классе произведения. Если учесть, насколько талантливо оно написано, то отпадут сомнения в том, что ни одно слово Гоголя, ни одна мысль не останутся незамеченными при сосредоточенном чтении. А так как на приведенных мною описаниях и рассуждениях обычно методисты и учителя не фиксируют внимания, то подростку приходится самому переживать прочитанное, иногда прибегая к помощи родителей, которые далеко не всегда в состоянии верно расставить нравственные акценты. Зато в упомянутом учебнике они четко расставлены в последнем «задании»: «Можете ли вы назвать произведения Гоголя, которые были восприняты вами с таким же наслаждением?»

Когда-то Пушкин, отвечая на критику, воскликнул: «Как будто литература и существует только для 16-летних девушек! Вероятно, благоразумный наставник не даст в руки ни им, ни даже их братьям ни единого из полных сочинений классического поэта, особенно древнего. На то издаются хрестоматии, выбранные места и тому подобное…» Пушкин отстаивал всего лишь право на легкую эротику. Мы ведем речь о более серьезных вещах. Конечно, не для нынешних шести– или семиклассников писал и Гоголь своего «Тараса Бульбу», и не ему сейчас адресован мой упрек, а тем «наставникам», которые, подчиняясь традициям, из творений великого писателя выбрали для воспитания ребят эту повесть.

Насилие, разжигание войн, непомерная жестокость, средневековый садизм, агрессивный национализм, ксенофобия, религиозный фанатизм, требующий истребления иноверцев, непробудное пьянство, возведенное в культ, неоправданная грубость даже в отношениях с близкими людьми – те ли это качества, без явного осуждения представленные в повести, которые помогут пробудить добрые чувства у детей и без того не слишком ласкового XXI века? Дайте срок – ребята подрастут и авось дозреют до собственного осмысления «Тараса Бульбы». А пока следовало бы сказать школьнику (почти по Гоголю): «А поворотись-ка, сын… к другой книге».

«Ему судьба готовила путь славный, имя громкое…»

«Статья о Некрасове? Почему вдруг? Разве юбилей? Да, кажется, был какой-то, но ведь прошел…» Я живо представил себе возможную реакцию редактора, потому что в моей практике прецедент был. Однажды я принес в одну из редакций статью о поэме Александра Блока[5], включаемой во все школьные программы. Удивленный заведующий отделом школ встретил меня теми словами, которыми я начал первый абзац. Статью о Блоке напечатала другая газета – «Литература», а потом цитаты из нее были включены в некоторые современные учебники для 11-го класса.

Как мы любим юбилеи! Бывает, растрезвонит пресса о каком-нибудь литературном середнячке только потому, что ему стукнуло 50 или 60 лет.

Семь речей ему сказали,
Все заслуги перечли,
И к Шекспиру приравняли,
И Гомером нарекли…

Н. А. Некрасов

Но великим поэтам всех времен не требуется стоять в общей очереди, ожидая, когда их вспомнят и, как говорил Маяковский, «в грядущем икнут». К этим великим относится и Николай Алексеевич Некрасов. А юбилей? Да, был, да, прошел. Скромно. Не в том дело.

Некрасов много страдал при жизни – сначала от бедности и непризнанности, позднее – от бедствий народных, от неудовлетворенности собой, от собственных ошибок, наконец – от тяжелой болезни. Страдает и после смерти, несмотря на официальное признание и изучение его произведений во всех школах России.

Современники поэта по-разному относились к нему: близкие по политическим и эстетическим принципам – уважительно, иногда восторженно, идейные противники – иначе. Иван Тургенев, рассорившись с любимцем демократической молодежи, раздраженно открестился от его стихов, «провонявших мужицкими сапогами и кислой капустой», но спустя годы,

очевидно, раскаявшись, пришел на поклон к умирающему поэту. Всё это хорошо известно. Приведу менее растиражированное высказывание другого великого современника Некрасова – Федора Михайловича Достоевского, не разделявшего политических пристрастий «крестьянского демократа». По словам Анны Григорьевны, жены Достоевского, он «высоко ставил» Некрасова. «Всю ту ночь он читал вслух стихотворения усопшего поэта, искренне восхищаясь многими из них и признавая их настоящими перлами русской поэзии» («Воспоминания», ч. VIII, гл. 7).

Некрасов – поэт народный. В сборнике русских песен я встретил отрывок из «Коробейников» с указанием: «Слова народные». Простительная и знаменательная ошибка: многие стихи поэта стали народными песнями. Это издание я показываю своим ученикам: впечатляет сильнее риторических восклицаний. Влияние Некрасова на поэзию XX века колоссально – даже Блок признавался, что испытал его. Многие строки стали афоризмами, что-то вошло в поговорки, как и стихи Пушкина. Отсюда – забавные казусы, допускаемые даже образованными людьми. На обложке одного журнала – портрет Пушкина и размашистая строка: «Я лиру посвятил народу своему…», а в юбилейные пушкинские дни 1999 года ту же цитату можно было узреть на щите в центре Москвы – с подписью Александра Сергеевича. Я не раз убеждался, что стихи:

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь

– приписывают Некрасову.

Вроде бы всё есть у поэта: и признание, и уважение, и народность. И все-таки я не обмолвился, сказав, что Некрасов страдает и после смерти. В чем же дело? В определенный период Некрасова стали как-то теснить и отодвигать, по крайней мере, на третий план. В школьной программе он, конечно, оставался и остается, но как будто после «перестройки» вышел из моды, как всё причастное к революционному движению (хотя причастность к нему Некрасова весьма относительна). Министерство образования стало значительно реже предлагать на выпускных экзаменах темы сочинений по Некрасову. В школе, где я давно работаю, за 27 лет (до 2002 года, когда судьбу школьников стал решать лототрон) некрасовские темы были даны на экзаменах только три раза, причем до 1985 года, после него – ни разу. Естественно, учителя-словесники не могли не заметить этой тенденции и, учитывая ситуацию, при подготовке выпускников

стали рассуждать так, как наши прогнозисты погоды: Некрасов на экзамене маловероятен. Практические выводы ясны, результаты – тоже. В середине учебного года пришла в 10-й класс нормальная девочка, обучавшаяся в другом городе. Некрасова она уже «прошла». Я на уроке попросил ее письменно изложить биографию поэта. После десятка слов о его детстве она одарила меня содержательным заключением: «Некрасов познакомился с Белинским. Он становился популярным поэтом. Затем долго болел и умер». Этим знания старшеклассницы исчерпывались.

В отношении к Некрасову в системе образования долго проявлялась какая-то странная нерешительность и сдержанность: так сказать, существовать позволим, но ограничим, и чтобы всё было в рамках дозволенного, «как бы чего не вышло». Александр Кобринский посетовал по поводу того, что в заданиях, составленных для Единого экзамена по литературе, поэма «Кому на Руси жить хорошо» представлена лишь одним вопросом: «К кому относится выражение „клейменый, да не раб“?» («Литература», 2002, № 46). Удивительная проверка знаний!

А за пределами системы образования еще и не то услышишь и прочтешь: «…столь нелепы, а порой и тошнотворны так называемые „народные типы“ русской классики, все эти некрасовские строители железных дорог…» (*К. Кобрин.* «Октябрь», 2002, № 3). Претенциозно и разухабисто. Читать такое стыдно и больно. Некрасов не играл, не лицемерил, когда писал о народе, не шокировал – он жил этим, мучился и не заслужил бестактно брошенных в него камней. Впрочем, камни брошены и во всю русскую классику. Можно, разумеется, объяснять нюансы нового отношения к Некрасову «переоценкой ценностей»; умная переоценка неизбежна и необходима, но не надо уподобляться персонажам басни Крылова, лягавшим и оскорблявшим состарившегося Льва.

Итак, качнувшаяся чаша официозных, а за ними, как следствие, и общественных весов – одна из причин современных страданий писателя. Но есть и другая – методическая. Задумаемся: что в литературе вызывает наибольший интерес и что навевает скуку юным читателям в наши дни? Я не принимаю во внимание дебилов, ничего, кроме пошлых юморесок и бездарных детективов, не читающих. Более или менее развитых тинейджеров чаще интересуют вечные и суперсовременные проблемы духовной, душевной, нравственной жизни человека, его внутренний мир, любовь, взаимоотношения с окружающими и так далее. Этого они ждут и от классической литературы, и хороший учитель старается всё это преподнести ученикам в аппетитной и тактичной упаковке, в увлекательной форме.

Хорошо это или плохо, но надо признать факт: жизнь крепостных и пореформенных крестьян XIX века сама по себе мало интересует старшеклассников, тем более что они читали и слышали о ней на уроках истории. Теперь скажите: в каком произведении Некрасова эта тема главная? Правильно, в поэме «Кому на Руси жить хорошо». А чему при изучении творчества поэта уделяется наибольшее количество часов и внимания? Этой поэме. Что из поэзии Некрасова остается в памяти? Смутное воспоминание о семерых мужиках, искавших счастливого человека, и неисправимо порочных помещиках. Уверен, восемьдесят процентов ребят поэму полностью не осиливают и, уж конечно, в личных беседах не делятся впечатлениями о ней. И дело вовсе не в том, что «народные типы» якобы «нелепы и тошнотворны». А между тем проект «Стандарта» по литературе, опубликованный в феврале 2002 года, предусматривает изучение поэмы «Кому на Руси жить хорошо» и в 9-м, и в 10-м классах, что нецелесообразно ни с методической, ни с психологической точки зрения. Я отнюдь не утверждаю, что надо самую значительную из поэм Некрасова убрать из программы. Нет, но надо позволить учителю *выбрать* из нее для рассмотрения в 10-м классе те эпизоды и строки, которые дают представление о смысле произведения и об авторе как талантливом поэте. Так учитель сможет сохранить интерес к Некрасову и изгнать одолевающую слабосильных скуку. Выигранное время я бы потратил на то, чтобы побеседовать о лирике Николая Алексеевича, в том числе любовной (даже железный борец и идеолог Чернышевский писал Некрасову, что его сильнее всего трогают именно глубоко личные стихи поэта о любви). И когда я предлагаю ученикам выучить наизусть любое стихотворение Некрасова, многие предпочитают любовное. Но среди трехсот пятидесяти экзаменационных тем, сгруппированных в 2003 году в комплекты, нет ни одной, посвященной любовной лирике Некрасова. Нет этой темы и в программах Т. Ф. Курдюмовой, А. Г. Кутузова, М. Б. Ладыгина.

Бесспорно, нельзя замалчивать и некрасовскую гражданскую лирику, но некоторые авторы программ конъюнктурно пошли по этому пути, искажая облик поэта. В концентрической программе Т. Ф. Курдюмовой аннотация ко всему творчеству Некрасова, включая лирику, звучит столь отвлеченно-расплывчато, что ее вполне можно адресовать и Федору Тютчеву, и Алексею Константиновичу Толстому, и другим поэтам: «Своеобразие его поэзии (лиризм, искренность чувств; сатирическая направленность произведений)». Но разве в этом своеобразие Некрасова и отличие его от иных авторов?

Социальную позицию писателя можно выявить и не лобовым,

не прямолинейным напором, а, например, сопоставив стихотворение «В дороге» с близким по схеме, но созданным позднее стихотворением в прозе «Маша» Тургенева, предварительно озадачив учеников, почему именно это стихотворение привело в восторг Белинского и, вероятно, изменило его отношение к Некрасову (сюжет его, как и тургеневской «Маши», казалось бы, избитый, перепетый). Ребята получают возможность, сопоставляя, рассуждать, дискутировать, искать, делать самостоятельные выводы о сходстве и различии убеждений, общественных позиций и художественных средств поэта и романиста. Это интереснее, чем слушать сухие лекции и принимать готовые формулы.

И как же не показать школьникам, что Некрасов, острый сатирик, иногда – пародист, мастер эпиграмм, о чем обычно не говорят на уроках и в учебниках, может быть, более, чем любой поэт XIX века, близок нашему времени. Я читаю своим знакомым стихотворение «Человек сороковых годов»:

Пришел я к крайнему пределу…
Я добр, я честен; я служить
Не соглашусь дурному делу,
За добрым рад не есть, не пить,
Но иногда пройти сторонкой
В вопросе грозном и живом,
Но понижать мой голос звонкий
Перед влиятельным лицом —
Увы! вошло в мою натуру!..
Не от рожденья я таков,
Но я прошел через цензуру
Незабываемых годов.
На всех, рожденных в двадцать пятом
Году и около того,
Отяготел жестокий фатум:
Не выйти нам из-под него.
Я не продам за деньги мненья,
Без крайней нужды не солгу…
Но – гибнуть жертвой убежденья
Я не могу… я не могу…

Спрашиваю: чьи стихи? И взрослые люди никогда не называют Некрасова, поэта середины XIX века. Определяют: Твардовский, Евтушенко и другие. И действительно: это истинные проблемы XX века, советской эпохи, сталинских, хрущевских, брежневских времен, это участь и психология многих, в частности

– «рожденных в двадцать пятом году и около того». А как побуждает это стихотворение к беседам и спорам по политическим, моральным, литературным проблемам нашего времени! И сколько таких стихов у Некрасова!

Столица наша чудная,
Богата через край.
Житье в ней нищим трудное,
Миллионерам – рай.

Когда это написано? Сегодня? Или в поэме «Современники»:

Слыл умником и в ус себе не дул,
Поклонники в нем видели мессию;
Попал на министерский стул
И – наглупил на всю Россию!

Еще:

Люби народ, но облагай,
Что называется, вплотную
И тем разумно возбуждай
К труду энергию святую.

А как злободневно, как трогательно звучит ныне пронзительное стихотворение «Внимая ужасам войны…»:

Сред лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей…

Это не натяжки. Писатель, безусловно, живет в своем времени, и об этом учителя неизменно говорят на уроках. Но новые времена обусловливают избирательный подход к наследию прошлого. Тем более, что общеизвестен упадок интереса нынешней молодежи к чтению классики и вообще к чтению.

Жалуются все, но надо же и спасать положение общими и частными усилиями, вернуть и поддерживать интерес к великой литературе. Не опрыскивать живой водой безнадежно мертвое, а нести в школу классику (избирательно!) как живое, талантливое и прекрасное для всех времен. И это относится не только к творчеству Некрасова, за которым, по словам Достоевского, «остается бессмертие, вполне им заслуженное».

Я понимаю, что не всё зависит от конкретных личностей. Есть веление времени, дух эпохи, законы и зигзаги истории. И все-таки, по-моему, что-то можно и нужно сделать. Это частичный пересмотр программ их составителями, право учителя на замену некоторых рекомендованных произведений другими и, наконец, творческие поиски учителем живых форм работы, развивающих мышление и чувства школьников. Надо, чтобы на скучный вопрос: «Вы уже прошли Некрасова?» – юный человек мог сияюще ответить: «Не прошли, а прочли!»

А кто такая Одинцова?

Неужели любовь, святая,
преданная любовь не всесильна?

И. С. Тургенев

Об интереснейшем романе Тургенева за 140 лет его существования написаны, вероятно, сотни статей. Известно, что содержание произведения сразу же вызвало в русском образованном обществе ожесточенную полемику, и, несмотря на прочность позиции романа в кругу шедевров литературной классики (или поэтому), споры продолжаются и поныне (вспомним хотя бы серию острых статей О. Чайковской). Естественно, основным объектом исследований и разногласий был и остается главный герой «Отцов и детей» Евгений Базаров. Я не собираюсь в данной статье возвращаться к дискуссии о необычном разночинце. Напомню только, что даже далекий от революционных идей Николай Лесков назвал его «здоровым типом», в отличие от эпигонов-нигилистов, а Федор Достоевский готов был «пожать ему руку». Меньше писали о второстепенных персонажах, вскользь или очень мало – об Анне Сергеевне Одинцовой. Развернутой характеристики ее я не встретил. С. М. Петров в 18-страничном послесловии к третьему тому собрания сочинений Тургенева уделил отношениям Базарова с Одинцовой пять предложений, обосновав это тем, что «…в „Отцах и детях“ Тургенев отводит любовному сюжету второстепенное место». М. Г. Качурин в учебнике для «углубленного» изучения литературы в 10-м классе (1998) сообщил, что он «уважает» Одинцову и что «перед лицом смерти» проявилась «поэтическая любовь к Одинцовой» героя романа. Этим и ограничился. Чуть большего внимания и уважения удостоилась героиня в учебнике Ю. В. Лебедева (2001), а раньше – в книге Г. А. Вялого «Роман Тургенева „Отцы и дети“» (1968).

А между тем история любви Базарова (девять глав небольшой по объему книги) чрезвычайно важна и в идейном, и в нравственном отношении, и с чисто художественной стороны. Я убежден, что на беседу об этих страницах можно, не скупясь, отвести по крайней мере два урока. Поводом для начала такого разговора могут служить слова Базарова: «Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, тогда я изменю свое мнение о самом себе».

Таким человеком неожиданно оказывается обаятельная

женщина. Известно, что моральная сущность мужчины часто обнаруживается в его отношениях с женщинами. Базаров – не исключение. Перед ним пасуют все действующие лица, все, кроме Одинцовой. Отношения с ней не курортный роман, не происшествие, а событие, определяющее переворот в психологии, в настроении, взглядах, в жизни человека, в его судьбе. Читатель увидел главного героя в новом свете, в столкновении сухой теории и «зеленого дерева жизни», в распахнутости глубоко спрятанных от самого себя чувств и желаний. Любовь – чувство стихийное, и все-таки важно, кого и как любит человек и кто любит его; это так же, как дружба, характеризует любящего и любимого.

Так что же представляет собой женщина, поразившая умного, несокрушимого и самоуверенного Евгения Васильевича? Обворожительная красавица, царица. Но неужели могла она привлечь Базарова только внешностью? Отрицательный ответ, казалось бы, ясен. Однако, видимо, не всем. Иные критики XIX и XX веков, игнорируя тургеневский текст, замечали в героине лишь ее модельную броскость и умение вести себя в светском обществе. Так, анонимный автор журнала «Библиотека для чтения» (1862, № 5) по свежим следам сообщал читателям: «В Одинцовой нет ничего необыкновенного, кроме ее красоты, изящной выдержки и приготовленности для жизни». Порой литераторы всерьез затевали забавную перепалку. Например, вызвало журнальную драку выражение Базарова «эдакое богатое тело» (первое его впечатление). Критик в журнале «Русский вестник» (1862, № 5) по этому поводу писал: «Сочувственная базаровскому типу прогрессивная критика пускалась в серьезные и пространные объяснения, что так именно и следует ценить женскую красоту с настоящей, реалистическо-современной, молодой, прогрессивной точки зрения, что „богатство“ тела и есть единственный признак красоты, что других никаких признаков и искать не подобает, ибо такое искание есть гнилой идеализм, противоречие естественно-научному знанию и так далее».

В спор о плечах и теле Одинцовой вмешался Дмитрий Писарев, обративший внимание, один из немногих в ту пору, на умственные способности и другие стороны одаренной натуры этой женщины. Что Одинцова – не раскрашенная кукла, не модель и не пустышка, ясно с первых тургеневских строк о ней: «спокойно и умно» глядели ее глаза, «какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица». По контрасту с лжеэмансипированными Кукшиной и Ситниковым Анна Сергеевна представлена на балу у губернатора неторопливой, неговорливой («сама она говорила

мало», два раза тихо засмеялась), с достоинством осанки, в непринужденном разговоре с неким сановником. Кажется, не без умысла Тургенев заставляет нас вспомнить хрестоматийные стихи:

Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?..

И далее:

Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей…
Всё тихо, просто было в ней…

И ситуация сходная, и почти точный портрет Анны Сергеевны Одинцовой, как говорят ныне, со знаком плюс. «Почти», так как может смутить слово «не холодна», но при первом восприятии Базарова еще не могло возникнуть ощущение холодности незнакомой женщины. Прозорливый Базаров, в отличие от журналистов из «Библиотеки для чтения», сразу выделил ее из массы светских дам, так же как Онегин на балу – неузнанную Татьяну-княгиню: «На остальных баб не похожа». Чем же? Невозможным, по его представлениям и убеждениям, сочетанием в женщине независимости, красоты и ума: «По моим замечаниям, свободно мыслят между женщинами только уроды». Перед его глазами было первое живое опровержение его представлений; первое, но не последнее.

«Баба с мозгом», оказалось, многое испытала в своей жизни, многое знала, многим интересовалась, охотно читала хорошие книги (с плохими, случайными, засыпала) и «выражалась правильным русским языком». Ах, лукавый Тургенев! Снова возникает, но уже под другим углом зрения, образ Татьяны Лариной, которая, увы, «по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалася с трудом на языке своем родном». Разумеется, нельзя никак бросить упрек любимице Пушкина: другие годы, другое воспитание, но как же не поставить еще один плюс Одинцовой, тем более что автор благодушно предоставляет нам такую возможность.

Неудивительно, что Базаров нашел в ней, в женщине,

собеседницу (и не только), с которой он мог вполне серьезно, без высокомерия и без кокетства говорить о «предметах полезных», начиная с устройства российского общества («безобразного устройства») и продолжая вопросами медицины, ботаники, живописи, музыки, наконец, проблемами психологии, счастья, любви, будущности самого Базарова. Трудно представить себе, с кем из обитателей этого романа мог бы Евгений Васильевич столь уважительно вести беседы о действительно важных проблемах. О женщинах и говорить нечего: ни Катя, ни Феничка, ни карикатурная Кукшина не могут соперничать с Одинцовой ни по интеллекту, ни по многим другим критериям.

Есть еще один женский персонаж, внесценический, – княгиня Р., сумасбродный и «почти бессмысленный» образ которой хранит в душе всю жизнь Павел Петрович. Кто-то из литературоведов пытался как-то возвысить его «романтическую» любовь. Но Тургенев не жалует «загадочную» персону и эту страсть: глаза ее были «невелики и серы», но взгляд загадочен, «язык ее лепетал самые пустые речи»; у нее был «небольшой ум», а «всё ее поведение представляло ряд несообразностей». «Павел Петрович встретил ее на одном бале, протанцевал с ней мазурку, в течение которой она не сказала ни одного путного слова, и влюбился в нее страстно». Как романтично! Но Павел Петрович – вовсе не романтическая натура: «Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа». И я бы не стал в этой статье отвлекаться, вспоминая об истории и предмете виртуальной любви Павла Петровича, если бы, контрастируя с ней, не высвечивались ярче достоинства Анны Сергеевны, не становилось бы понятнее рождение любви Базарова и не рельефнее вырисовывалась бы значительность его личности.

Женское очарование, красота, ум, мягкость и решительность, независимость и самостоятельность в мыслях и действиях (она к Базарову «благоволила, хотя и редко с ним соглашалась»), отвращение к пошлости, чувство собственного достоинства, женская гордость – такое сочетание человеческих качеств по мере узнавания всё более убеждало Базарова в том, что эта женщина «на остальных баб не похожа». И в то же время многие свойства ее натуры были родственны, на взгляд Одинцовой, ее собеседнику и обусловливали их «однородность», которая Евгению Васильевичу, возможно, импонировала, а по мнению Анны Сергеевны, мешала их сближению.

Любовь Базарова оказалась настолько могучей и неудержимой, что разрушила (не без помощи и чисто женской бесовской провокации) все плотины и дамбы надуманных

запретов и теорий и грубо вырвалась наружу в виде прямолинейного признания. Гениально передано писателем развитие чувства героя, психологическое состояние его и ее, трепетная, загадочная атмосфера в комнате, «таинственное шептание» ночи, дрожание рук и бушующая «сильная и тяжелая страсть» Базарова. Вот где и романтика, и любовь, и темперамент, и характер!

Тургенев любит сравнения и мягкие, изящные контрасты. Еще несколько глав – и писатель приведет нас в сад, где Аркадий будет объясняться в любви Кате. Тщательно подбирая канцелярски-газетные обороты, он мямлит: «…вопрос, до которого я еще не касался… желаю посвятить все мои силы истине… я полагаю, что обязанность всякого честного человека… это чувство относится некоторым образом… некоторым образом, заметьте, до вас…» Молодой человек волнуется, но это не сжигающий вихрь страстей Базарова. Он скажет о любви Аркадия – «бланманже» (желе из сливок или миндального молока). И Тургенев с иронической улыбкой прерывает робкий монолог влюбленного великолепной художественной деталью: «…а зяблик над ним в листве березы беззаботно распевал свою песенку…» И картинка банально сентиментального признания дорисована в духе старых лубочных открыток с голубками над целующимися парами. И сам щебечущий Аркаша Кирсанов – не зяблик ли? На уроке я читаю ребятам сцены объяснения в любви двух друзей и спрашиваю: «Чье чувство вам кажется более сильным?» Как правило, отвечают единодушно: «Базарова!» Не они ли правы?

И непременно слышится вопрос: почему же прелестная и умная женщина, увлеченная необычной личностью и добившаяся признания от сурового отрицателя любви, не ответила ему тем же, не вышла за него замуж? О причинах можно догадываться и спорить, но не так, как это делал – грубо, примитивно и оскорбительно – критик журнала «Современник» М. Антонович: «Женщина, добрая и возвышенная по натуре, сначала увлекается им, но потом, узнав его ближе, с ужасом и омерзением от него отворачивается, отплевывается и „обтирается“ платком…» Нет, конечно, всё не так. Прежде всего они не настолько уж «однородны», как полагала Одинцова. Скорее, прав был Базаров: «…между вами и мною такое расстояние…» Да, расстояние социальное, мировоззренческое, психологическое, материальное и тому подобное. Но мы знаем немало случаев, когда люди успешно преодолевают это расстояние при одном условии – при условии взаимной большой любви. Была ли такая любовь у прекрасной «аристократки»?

Тургенев утверждает, что она «мало влюбляется в Базарова»

(письмо к поэту К. Случевскому). Да, мало, но дело в том, что она никого в жизни не любила – то ли неспособна была, то ли не везло ей – и оттого страдает, полюбить хочется (Маяковский писал: «Страшно не любить»), да так, чтобы «жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою…» И Базарова, «человека не из числа обыкновенных», хочется ей полюбить. И что-то в душе и в сердце ее происходит. Когда Базаров, еще до признания, обмолвился, что намерен уехать к отцу, «она побледнела, словно ее что в сердце кольнуло, да так кольнуло, что она удивилась и долго потом размышляла о том, что бы это значило». С холодными и безразличными к мужчине женщинами такое не случается. И уже готова была Анна Сергеевна сказать Евгению Васильевичу «одно слово», пытаясь удержать его, но Базаров, у которого «сердце так и рвалось», стремительно покинул ее. И долго еще женщина будет решать для себя этот роковой гамлетовский вопрос, мысленно произносить: «Или?», оценивать свои чувства: «Я и себя не понимала». И даже у постели умирающего она всё еще не в состоянии ответить определенно, «точно ли любила» этого человека. И где она, эта мера любви? Может быть, влечение к Базарову – это и есть потолок любовных возможностей Одинцовой, не знавшей другой любви. А страх, который она временами испытывает при мыслях о «нигилисте», объясним: покойного мужа, «ипохондрика, пухлого, тяжелого и кислого», она «едва выносила», вышла за него по расчету, натерпелась, как говорится, обожглась и теперь, будучи свободной, осмотрительнее решает свою судьбу, вглядывается в малознакомого, но поразившего ее воображение мужчину и пытается понять свои непривычные чувства. Можно ли в этом упрекнуть ее?

Или в стремлении к спокойствию, к стабильности (постоянный аргумент против Одинцовой)? Да какая же женщина не хочет спокойствия? Тургенев, а за ним и литературоведы, и авторы ряда учебников ставят в укор Анне Сергеевне ее холодность. Мне показалось уместным вновь обратиться к пушкинским стихам:

Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума…
И, признаюсь, от них бежал…

К этой ли категории красавиц принадлежит Одинцова? По нарочитым описаниям и рассуждениям Тургенева – пожалуй. Но в

ее поступках, в ее встречах с Базаровым – нет, она другая, живая, увлекающаяся. Однако быстрые, крутые повороты в жизни, мгновенные решения свойственны далеко не всем женщинам, имеющим за плечами тяжелый жизненный опыт. И, может быть, то, что называют холодностью героини, на самом деле просто умение «властвовать собою», которому Онегин учил Татьяну?

Писарев считал, что отпугнуло Анну Сергеевну и то, что «в чувстве Базарова нет той внешней миловидности, joli a voir (красиво по внешности, миловидно), которые Одинцова совершенно бессознательно считает необходимыми атрибутами всякого любовного пафоса». Возможно, и это сыграло роль. Не забудем, что наша дама, при некоторой демократичности в быту, – представительница княжеского рода (по матери). Что-то в облике и манерах Базарова пугало ее. Однако она умела преодолевать свой страх. Что заставило ее прийти к умирающему человеку, поцеловать его, несмотря на предупреждение о заразной болезни? Чувство вины? Или благодарности? Или?.. Кстати, этот эпизод по-разному воспринимался критиками: неистовствовал М. Антонович, называл сцену «гадостью», находил в ней греховность и безнравственность; Д. Писарев видел в ней проявление мужества героя; А. Скабичевский сделал вывод, что Базаров «потешается над своей любовью даже на смертном одре», а Чехов, как врач, изумлялся, насколько точно описан процесс умирания Базарова.

Человек, к которому обращены последние слова Базарова, – Анна Сергеевна. Любовь к ней он уносит в могилу. Ей он говорит и о невыполненной жизненной задаче. У Одинцовой тоже была цель жизни, как ни странно, очень простая, земная. О чем мечтала царственная красавица, какую «настоящую роль» прочила себе? «Роль тетки, наставницы, матери», – говорила она Базарову. Неизвестно, осуществилось ли это скромное и благородное желание, в эпилоге не сказано. Из него мы узнаем лишь то, что Анна Сергеевна, так и не дождавшись любви, «вышла замуж, не по любви, но по убеждению, за одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твердою волей и замечательным даром слова, человека еще молодого, доброго и холодного, как лед. Они живут в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья… пожалуй, до любви».

Любопытно, какие иногда делаются выводы из этих слов писателя. Вспоминается, как методист Е. И. Ильин во время давней встречи с ним, показанной по телевидению, рассказывал, как воспитывает своих учеников. Он всерьез процитировал слова из эпилога, опустив сравнение «холодный, как лед» и выражение

«доживутся», и обратился к ученикам с таким примерно поучением: «Не ждите любви, выходите замуж и женитесь без любви, притретесь и доживете до любви и счастья – этому учит Тургенев». Но Тургенев, как всегда, тонок и точен в деталях: муж Анны Сергеевны – «холодный, как лед», хотя и умный, практичный, «законник». Они «доживутся (не „доживут“ – разница!), пожалуй (!), до счастья… (многоточие автора. – Г. Я.) пожалуй (!), до любви». Мудрено не заметить здесь иронии писателя. Едва ли айсберги, притершись друг к другу, когда-нибудь воспламенятся. И не может быть подобная идея близка Тургеневу, прожившему жизнь «на краешке чужого гнезда» из-за глубокой любви к Полине Виардо и не желавшему, женившись, «доживаться» до любви с другой женщиной.

Отношение Тургенева к своей героине неоднозначно. В изображении писателя она наделена таким богатством прекрасных черт, что, несмотря на некоторую холодность и приверженность к уюту и покою, предстает как женщина, вполне достойная любви Базарова, которому автор тайно симпатизирует. В тургеневских описаниях не только лица, но и всего облика Анны Сергеевны – нескрываемая мужская восторженность и завороженность, в рассказе о привычках ее и в эпилоге – мягкая ирония, и только в раздраженном письме к Случевскому – более резкий выплеск.

Появление в романе такого персонажа, как Одинцова, позволило не только опровергнуть некоторые ошибочные взгляды, но и раскрыться лучшим чертам Базарова: способности любить, уважать женщину, сохранять чувство собственного достоинства в трудной ситуации, сдержанности, скромности, честности и прямоте, пробудило его интерес к отдельному человеку, заставило по-иному взглянуть на мир: «Может быть, вы правы; может быть, точно, всякий человек – загадка». Да, как ни печально, любовь не всесильна, но и поражение в любви, столь же непредвиденное, как и ее возникновение, не прошло даром для Базарова. Он, несомненно, по-человечески возвысился в глазах читателя, стал ближе ему.

Однако героиня романа чрезвычайно интересна и сама по себе. Непохожая на типично «тургеневских» девушек – Наталью, Елену, Лизу, Марианну, – она привлекает иными качествами, о которых говорилось выше. Но, видно, предвзятая оценка критиками личности Одинцовой создала ей устойчиво нелестную репутацию. Недавно я спросил учительницу литературы, преподающую в старших классах: «Какое представление об Одинцовой сложилось у вас?» Словесница слегка задумалась и произнесла: «То ли львица, то ли тигрица». Если бы это было

исчерпывающей характеристикой Анны Сергеевны, то как низко пал бы Базаров, скатившись к пошлому волокитству за светской дамочкой! Каким серым человечком выглядел бы тот, кого Тургенев представлял «фигурой сумрачной, дикой, большой, до половины выросшей из почвы, сильной, злобной, честной». История отношений Базарова с Одинцовой – благодатный материал для обсуждения на уроках, для развития самостоятельного мышления: тут много нерешенных проблем, простор для самовыражения, для разговора «о странностях любви», о соотношении долга и чувства, о женской красоте, о художественном мастерстве писателя и так далее. Всё это злободневно и вечно.

Лгал ли Лука?

Лука… святая душа.

Художник М. В. Нестеров

Это в чем же вру-то я?

Лука. «На дне»

О Максиме Горьком писали и пишут по-разному. Напомню два отзыва его великих современников: «замечательный писатель», по словам Льва Толстого, обладавший, по мнению Александра Блока, «роковой силой таланта» и «благородством стремлений».

Но в 80-х годах XX века он был уличен в том, что в последние пять лет жизни, обитая в Москве (после эмиграции) и, как выяснилось, находясь под надзором сталинских ищеек, одобрял социалистический строй и даже (кошмар!) восхвалял Сталина.

И кто при нем его не славил,
Не возносил – найдись такой!

А. Твардовский

Так-то оно так, но в конце XX века появилось несколько ядовитых статеек, авторы которых, захлебываясь в злорадном азарте обличительного ликвидаторства, клеймили классика, и это едва не вошло в моду. В оглавлении учебной книги Г. С. Меркина «Русская литература XX века» (1995) Максим Горький не значится. Не было такого писателя в XX веке. Так что на эту книгу я ссылаться не буду. А в аннотации к ней сказано, что материалы представлены «в соответствии с новыми программами по литературе». К счастью, немногие методисты поддались «диким крикам озлобленья». Произведения Горького издаются и изучаются в школе, а пьеса «На дне» триумфально шествует по сценам мира более столетия. В опубликованных комплектах тем экзаменационных сочинений 2004 года было немало тем по творчеству писателя, больше всего – десять – по пьесе «На дне». Вот и мы не будем кричать: «Распни, распни его!» – и не станем курить фимиам, а лучше вслушаемся и вдумаемся в речи героев его драмы. Задуматься есть над чем.

Человеком, который «проквасил сожителей» убогой

ночлежки, является странник Лука. Вокруг его персоны и его идей вертится драматическая карусель, раскрученная автором.

Спустя тридцать лет после опубликования пьесы, в разгар первой пятилетки, вернувшийся из Италии и старающийся найти свое место в советской жизни Горький пишет статью «О пьесах», где дает уничтожающую оценку центральному герою: «И, наконец, есть еще весьма большое количество утешителей, которые утешают только для того, чтоб им не надоедали своими жалобами, не тревожили привычного покоя ко всему притерпевшейся холодной души… Утешители этого ряда – самые умные, знающие и красноречивые. Они же поэтому и самые вредоносные… Именно таким утешителем должен был быть Лука в пьесе „На дне“…» Стоп! Эти слова вошли едва ли не во все учебники, начиная с 1933 года и по нынешнее время. Но почему «стоп!»? Да потому, что последняя фраза оборвана, вторая часть ее обычно не цитировалась в учебниках. А на самом деле после слов: «Лука в пьесе „На дне“» – не точка и не многоточие, а запятая. Читаем: «…но я, видимо, *не сумел сделать его таким».* Вот главное. Не сумел или не захотел, но получилось нечто другое; драматург в этом признался, однако на протяжении всей жизни не перерабатывал коренным образом пьесу, не менял характера и поведения Луки, образ остался тем же. Почему? В этом надо разобраться.

Умные и тогда еще свободные артисты истолковали образ по-своему, приоткрыв то хорошее, что, по их мнению, характеризовало Луку. Так исполнял эту роль одареннейший Иван Москвин. Побывав на первых представлениях, Горький 16 декабря 1902 года пишет К. П. Пятницкому, что Москвин прекрасно справился с ролью, но 25 декабря в письме к нему же выражает тревогу: «Хвалить – хвалят, а понимать не хотят. Я теперь соображаю – кто виноват? Талант Москвина-Луки или же неуменье автора?»

Но в том-то и заслуга автора, и ценность пьесы, что в ней точки над *i* не поставлены, оставлен на десятилетия или на века простор для споров, суждений, толкований. Это еще не социалистический реализм. Определение типа утешителя, которое дает Горький в статье «О пьесах», вряд ли применимо к Луке, но оно, как и его высказывание в 1928 году, приводимое ниже, созвучно духу времени, когда газетные страницы злобно кричали о «классовых врагах», «вредителях», проповедовали ненависть, беспощадность, непримиримость, и этим духом проникался гуманист по натуре Максим Горький. В 1928 году во время посещения Советского Союза, отвечая на митинге сормовичам, писатель сказал о Луке: «…Он – жулик. Все люди,

которые пытаются утешить и примирить непримиримое, – жулики…»

Тем не менее Горький, повторюсь, не переделывает пьесу, как он поступал, например, с «Вассой Железновой», «Последними», «Фальшивой монетой», с очерком «Владимир Ильич Ленин» и другими произведениями, а решил напрочь отречься от своей лучшей пьесы: «„На дне“ – пьеса устаревшая и, возможно, даже вредная в наши дни» (1932 год). Чем же она вредна? Быть может, слишком хорош «неполучившийся» Лука, и широкие массы чего доброго примут его идеи в государстве безбожников? Когда-то Блок записал в дневнике: «Большевики правы, опасаясь „Двенадцати“». Горький же предупредил большевиков: опасайтесь моей пьесы, она вредна! Кому?

Этому настоянию драматурга, слава Богу, не вняли, пьесу не запретили, но авторская характеристика Луки, данная в 1932 году, на многие годы определила направление мысли литературоведов и трактовки образа Луки в учебниках – с учетом еще одного высказывания Горького о главном вопросе пьесы: «… Что лучше – истина или сострадание? Что нужнее?» Причем лжецом и жуликом, по уверениям писателя, был, конечно, Лука, то есть должен был быть. И сдают мне бескомпромиссные школьники сочинения, нелогично, но упорно противопоставляя истину состраданию, сопереживанию.

А каким он должен был быть, Лука? Не потому ли он неоднозначен, что и сам Алексей Максимович в ту пору (девяностые годы XIX века – начало XX века) не столь прямолинейно решал политические и философские вопросы и образ Луки явился следствием и воплощением каких-то глубинно назревавших и своеобразно трансформировавшихся идей?

Вот, например, аллегорическая история «О Чиже, который лгал, и о Дятле – любителе истины» (1893). Чиж вдруг запел «песни, исполненные не только надежд, но и уверенности». «До той поры все птицы, испуганные и угнетенные внезапно наступившей серенькой и хмурой погодой, пели песни… в них преобладали тяжелые, унылые и безнадежные ноты (в „На дне“: „Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно…“ – *Г. Я.*), и птицы-слушатели сначала называли их хрипеньем умирающих, но потом понемногу привыкли (ночлежники в пьесе. – *Г. Я.*)… Тон всему в роще задавали вороны, птицы по существу своему пессимистические…» Чиж звал к новой жизни, «идти вперед, уверовать в себя» и т. п. «И все птицы пели, и всем стало так легко, все чувствовали, что в сердцах родилось страстное желание жизни и счастья». Но тут заговорил Дятел: «Я питаюсь червяками и люблю истину… вас нагло обманывают… бесстыдная ложь… А

спросите господина Чижа, где те факты, которыми он мог бы подтвердить то, что сказал? Их нет у него…» Ну прямо как в пьесе «На дне»: «Поманил, а дороги не указал». И вот Чиж посрамлен едоком червей, покинут всеми, и жизнь продолжает «течь куда-то мутным потоком», если употребить горьковское выражение.

«А Чиж остался и, сидя на ветке орешника, думал: „Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там, за рощей, но ведь верить и надеяться так хорошо!.. Я же только и хотел пробудить веру и надежду – и вот почему я солгал… Он, Дятел, может быть, и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья?“» Аналогия с Лукой очевидна, хотя и не полна, даже последние слова Чижа перекочевали в пьесу и отданы Луке.

Возможно, кто-то скажет, что и здесь писатель обличает Чижа-Луку. Однако впоследствии Горький утверждал, что в образе Чижа отразились его мысли о социальном переустройстве жизни и чувство отчаяния от сознания собственного бессилия. Что же получается: Чиж – Лука – Горький? После спектакля С. Яблонский писал в 1902 году: «Спасибо Луке-Горькому за его лирическую поэму». Разумеется, никакой идентичности нет, и Алексей Максимович неизменно публично распинал Луку, но в пьесе – другое. Автор может не одобрять ход мыслей своего героя, может не любить этого персонажа, но он его создал, и герой живет уже своей жизнью, а читатели или зрители вольны воспринимать и толковать его по-своему. История литературы пестрит подобными примерами.

Случайно ли герой назван Лукой? Не намек ли это на двойственную роль его? В переводе с латинского Лука – «светлый», «светящийся». Это имя носил создатель одного из евангелий, врач, последователь и толкователь учения Христа. С другой стороны, это имя может ассоциироваться с понятием лукавства, неискренности, что и приписывал Горький своему персонажу в публичных выступлениях.

Лука, изображенный в пьесе, – не идеал человеческий, не образец, не святой, а такой же босяк, как и остальные ночлежники. За спиной у него и преступления (дважды бежал с каторги), и не слишком нравственное общение с женщинами («Я их, баб-то, может, больше знал, чем волос на голове было…»). Но он опытнее других, прошел огонь и воду, умен, добрее других, не столь обозлен ударами и уродством жизни. И дело в том, что при всей реалистической сути пьесы – произведения социально-бытового и философского – и несмотря на индивидуализацию характеров и речи, персонажи в известной мере условны, некоторые из них – рупоры определенных концепций, и особую

значимость приобретают их высказывания, афоризмы, иногда – поступки. В первую очередь это относится к Луке.

Посмотрим же, в чем обвиняют или упрекают Луку литературоведы, методисты и учителя. Прежде всего во лжи. Возьмем учебники для 11-го класса. Под редакцией А. Дементьева: «Дело в том, что утешения Луки основаны не на правде, а на лжи… Ложь старика играет реакционную роль». Под редакцией В. А. Ковалева: «Всё это утешительная ложь». Примеры можно множить. А в чем солгал Лука? Бубнов в упор спрашивает старика: есть ли Бог? Лука отвечает: «Коли веришь – есть; не веришь – нет…» Одним критикам ответ кажется уклончивым, лукавым, другим – правильным. Ночлежники не стали возражать, но ответ произвел впечатление: Бубнов промолчал, а Васька Пепел (ремарка) «молча, удивленно и упорно смотрит на старика». Задумался. Солгал ли Лука? Нет. Ведь вера потому и называется верой, что она не требует доказательств. Отношение к Богу сугубо индивидуально. Верующий человек не сомневается в существовании Творца, атеист отрицает Его. Лев Толстой писал: «Надо определить веру, а потом Бога, а не через Бога определять веру…» («Исповедь»). И еще – запись в дневнике Толстого 23 ноября 1909 года по поводу пьесы «На дне»: «Есть ли тот Бог сам в себе, про которого я говорю и пишу? И правда, что про этого Бога можно сказать: веришь в него – и есть Он. И я всегда так думал». Бог – в душе человека. Иные полагают, что Горький, как революционер и атеист, осуждал «странника» за такой «неопределенный» ответ Бубнову. Однако в эти и последующие годы писатель и сам был увлечен поиском новой религии, «богоискательством», «богостроительством», чего не мог ему простить Ленин. И даже Ниловна (и не только она) в романе «Мать», уже вовлеченная в революционную деятельность, «всё больше думала о Христе и о людях, которые, не упоминая имени его, как будто даже не зная о нем, жили – казалось ей – по его заветам… Христос теперь стал ближе к ней…» А в своей «Исповеди» Горький призывал: «…Единый и верный путь ко всеобщему слиянию ради великого дела – всемирного богостроительства ради!»

Впрочем, соединение христианства и социализма было свойственно и русским революционным демократам XIX века.

Его послал бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе, —

писал Некрасов в стихотворении «Пророк», посвященном Чернышевскому.

Так что формулировка Луки вряд ли могла покоробить Горького в 1902 году, и не стоит к ней придираться.

Осуждая утешительство Луки (а это один из главных пунктов обвинения), критики традиционно следуют за горьковской самооценкой тридцатых годов: «Именно таким утешителем (то есть вредоносным. – *Г. Я.*) и является Лука» (учебник Л. И. Тимофеева). «Проповеди рабского смирения и служит его утешительная ложь» (учебник А. Дементьева). Слово «утешитель» уподобилось красному платку, вызывающему бешеную злобу быка. А между тем Утешителем именовал себя Иисус Христос (*см.* Евангелие от Иоанна, гл. 14). Там же Утешителем Христос называет Духа Святого. Почему драгоценные человеческие качества – доброта, сочувствие, сострадание, стремление помочь людям, утешить их – стали мишенью многолетних нападок литературоведов и пропагандистов? К сожалению, источник надо искать всё в тех же выступлениях и поздних статьях писателя. Что сказано, то сказано. А сказано было следующее: «…Владимир Ленин решительно и навсегда вычеркнул из жизни тип утешителя, заменив его учителем революционного права рабочего класса». Что и говорить: Ленин не был утешителем; сколько замечательных людей он и его наследники «вычеркнули из жизни», провозгласив отказ от морали в политике!

Я могу еще как-то понять тех, кто в сталинские времена не решался в своих исследованиях отступить от догм категорически заявленной Горьким концепции. Но в наше-то время что мешает переоценке? Да, Лука – добрый человек, говорит несчастным людям ласковые слова, утешает в беде, помогает; и люди, истосковавшиеся по человеческому отношению, заботе, сами просят, чтобы их утешили.

> **Наташа**. Господи! Хоть бы пожалели… хоть бы кто слово сказал какое-нибудь! Эх вы…
>
> **Лука**. Человека приласкать – никогда не вредно… Жалеть людей надо! Христос-то всех жалел и нам так велел…

Здесь нет ни лицемерия со стороны Луки, ни унижающей жалости. Не тот случай. И вообще-то говоря, неужели уж так вредна жалость? Равнодушие или жестокость лучше? «Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо!» – патетически возглашает Сатин. Да кто же, если не Лука, единственный в ночлежке, по-настоящему уважает униженных и оскорбленных не им людей (но не Костылева, не Василису, не полицейского Медведева, о которых говорит с презрением или с иронией)? Он не раз напоминает: «всякого человека уважать

надо» – и поступает соответственно. Не жалеть, не утешать, держать в ежовых рукавицах – это по-сталински, по-ежовски. А хорошая поэтесса Юлия Друнина пожаловалась в стихотворении: «Кто б меня, унизив, пожалел…» Пожалел бы – может, и не покончила бы самоубийством мужественная женщина, прошедшая войну. Простой народ, говоря иногда: «Я его жалею», имеет в виду другое – «люблю».

Относиться к людям по-божески – принцип Луки; человек, «каков ни есть – а всегда своей цены стоит»; «если кто кому хорошего не сделал, тот и худо поступил». Прекрасные мысли, верные слова!

Перейдем к другим обвинениям, брошенным Луке. Он якобы обманул перед смертью Анну, он виновен в самоубийстве Актера. Анна умирает, идут последние минуты ее жизни. Клещ, ее муж, вместо помощи и сочувствия, поглощая пельмени, предназначенные ей, бормочет: «Ничего… может – встанешь… бывает!» И, сказав это, *уходит* (ремарка). Вот где ложь и равнодушие, приписываемые Луке! Клещ успокаивает Анну так же лицемерно, как Иудушка в «Господах Головлевых» утешал умирающего брата: «Встань да и побеги! Труском-труском…» А что говорит страдающей Анне Лука? «А Господь взглянет на тебя кротко-ласково и скажет: знаю я Анну эту! Ну, скажет, отведите ее, Анну, в рай! Пусть успокоится… знаю я, жила она – очень трудно… очень устала… Дайте покой Анне…» Что может сказать верующий человек умирающему? Естественно, он обращается к Богу и повторяет азы христианского учения о загробной жизни. Признать это ложью – значит признать ложным религиозное мировоззрение. Но оставим это занятие коммунистическим пропагандистам. Лука искренен. От утешения Анны ему никакой выгоды – счет идет на минуты. Из воспоминаний М. Ф. Андреевой о первом чтении пьесы: «Горький читал великолепно, особенно хорошо Луку. Когда он дошел до сцены смерти Анны, он не выдержал, расплакался».

Всё, что касается судьбы Актера, требует более обстоятельных объяснений, ибо это ставят в вину Луке почти все учебники. Учебник В. В. Агеносова: «Горький же *через судьбу Актера уверяет* (каков стиль! – *Г. Я.*) читателя и зрителя в том, что именно ложная надежда может привести человека к петле». Старик, желая помочь людям подняться со «дна», найти себя, вернуться к нормальной жизни, сообщает Актеру, что есть в России лечебницы, где бесплатно лечат алкоголиков: «…Ты пока готовься! Воздержись… возьми себя в руки и – терпи… А потом – вылечишься… и начнешь жить снова… хорошо, брат, снова-то!» Чистый сердцем Актер верит, перестает пить, копит деньги на

дорогу. Но разрушить мечту и веру слабохарактерного человека ничего не стоит. И «образованный» безжалостный Сатин, шулер, пьяница, убежденный бездельник и циник, дважды рубит с плеча: «Фата-моргана! Наврал тебе старик… Ничего нет! Нет городов, нет людей… ничего нет» Злобная чушь! «Врешь!» – кричит Актер. Но через некоторое время Сатин в присутствии Актера гнет свое: «Старик! Чего ты надул в уши этому огарку?» Это уже крах. Вдобавок Лука никак не может «вспомнить» адреса больницы. Актер вешается. Лука не мог назвать адресов (вспомним Чижа), но он много бродил по Руси, много видел, о многом слышал и говорил обо всём в меру своей осведомленности. *И ведь не врал!* Я читал, что в эти годы в России по крайней мере три лечебницы бесплатно занимались алкоголиками. Что и говорить о Москве, где издавна существовал целый ряд благотворительных заведений. Вот фрагмент из книги очерков М. Н. Загоскина «Москва и москвичи» (1842–1850).

> – А это также дворец? – сказал Дюверние, указывая на Голицынскую больницу.
>
> – Нет, это больница…
>
> – А это что за великолепное здание? – спросил он через полминуты.
>
> – Больница.
>
> – Ого? – прошептал француз ‹…› – Три больницы, похожие на дворцы, и все три почти сряду!.. – шептал путешественник.
>
> – Есть недалеко отсюда и четвертая… И в других частях города есть *странноприимные* дома и больницы, ничем не хуже этих.

Бесплатные больницы для рабочих были при фабриках Саввы Морозова, например в Шуе. Больница для неимущих, в которой служил отец Ф. М. Достоевского, находилась на Божедомке в Москве. Там и сейчас институт туберкулеза и больница. Нынешняя 23-я больница до революции бесплатно лечила чернорабочих. Всегда бесплатно обслуживала население Первая Градская больница. Этот перечень неполон. Выходит, что врал-то не Лука, а Сатин. И прояви Актер волю и терпение – жизнь его могла сложиться иначе.

Советы Луки *конкретны,* как и его посильная помощь соночлежникам. Ваське Пеплу он рекомендует найти работу в Сибири. Три тысячи крестьян в эти годы отправились туда в поисках работы и лучшей жизни. И Пепел, который, помним, как-то упрекнул старика во лжи, потом поверил ему, стал готовиться к поездке в Сибирь, уговаривал отправиться с ним Наташу,

мечтал вести честный образ жизни. Чем раньше он предпринял бы эту поездку, тем вернее бы распутал узлы, не совершил бы убийства и наверняка нашел бы работу.

Мнимые преступления и проступки Луки тенденциозно нанизываются на обвинительную нить. Вот, дескать, и ложные советы давал, и спасать Ваську в экстремальной ситуации, во время убийства Костылева, не бросился, не помешал убийству, а потом исчез, не объявил себя свидетелем. Но, во-первых, помешал – одну попытку убийства он предотвратил: умышленно устроил громкую возню на печи и «воюще позевывал», чем отпугнул заговорщиков, а потом объяснял Пеплу опасность его намерений. Во-вторых, в качестве свидетеля беспаспортному бродяге и беглому каторжнику оставаться было совершенно бессмысленно. «Какой я свидетель…» – уходя, произносит Лука. Пепла он бы не спас, а сам надолго сел бы в тюрьму. В-третьих, не надо ждать от Луки героического самопожертвования, его роль – другая. И тем паче он не революционный борец за свободу рабочего класса.

Но он не лжец и не безумец. «Безумным стариком» обозвали его недавно в телефильме о Максиме Горьком. О безумцах читает стихи Актер:

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет, —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

Если б завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло,
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь.

Эти стихи (второе четверостишие, как правило, не приводится), по мнению методистов, подтверждают иллюзорность предложений и советов Луки и его отрыв от реальных жизненных проблем. Но ведь в стихотворении Беранже мысль иная и отношение к «безумцам» отнюдь не негативное, скорее это гимн двигателям прогресса, апофеоз.

«Смерть безумцам!» – мы яростно воем,
Поднимаем бессмысленный рев…
Мы преследуем их, убиваем,
А статуи потом воздвигаем,
Человечеству славу прозрев…

В Новый мир по безвестным дорогам
Плыл безумец навстречу мечте,
И безумец висел на кресте,
И безумца мы назвали Богом!

«Безумцы»; пер. В. Курочкина

В учебнике В. В. Агеносова (статья о Горьком М. М. Голубкова) сказано: «Все (?) герои сходятся в том, что надежда, которую Лука вселил в их души, – ложная». Ошибочное утверждение. Не всех обнадеживал старик, поэтому обо всех нельзя говорить. Серьезно «обнадеживал» только Анну, Актера и Пепла с Наташей. Покойная Анна не могла ничего сказать, а надежды Актера и Пепла не сбылись не по вине Луки. И ни на чем герои не сходятся. Положительно отзываются о Луке в четвертом акте Клещ, Настя, Татарин, Сатин (о нем – особый разговор). На чем основано заключение М. М. Голубкова – неясно.

Но рассказы Луки о работе в Сибири и о бесплатных лечебницах могли показаться обитателям ночлежки вымыслом, ибо они об этом ничего никогда не слышали и не читали, а полуобразованные Барон и Сатин вращались в иной сфере, а позднее их кругозор был ограничен тюрьмой. Скажи современному Маугли, всю жизнь проведшему в джунглях, что существуют компьютеры, обладающие феноменальной памятью, что в каждом доме есть телевизор и т. п., он же вспыхнет, если хоть немного владеет речью: «Зачем ты всё врешь?» Кроме того, ночлежники, за исключением Татарина, либо не верят в Бога, либо ни во что не верят (Барон, Бубнов).

В учебниках пишут, что Луке Горький противопоставил Сатина и что гордый Сатин разоблачает Луку: «Горький показывает в нем человека, при всех испытаниях сохранившего человеческое достоинство и веру в лучшую жизнь» (учебник Л. И. Тимофеева). «Знаменитый монолог Сатина о человеке, в котором он утверждает необходимость уважения вместо жалости, а жалость рассматривает как унижение, – выражает иную жизненную позицию» (учебник В. В. Агеносова). Но уж если Сатин и Лука антагонистичны, то положительной персоной будет, скорее, Лука. Кто такой Сатин? Такой же подонок, как и многие, если не хуже; причем если Лука призывает своим *трудом* добиться перемен в жизни и дает дельные советы (когда может это сделать), чуток и заботлив, то Сатин, эгоистично, грубо и высокомерно общающийся с ночлежниками, обзывающий их «скотами», «тупыми, как кирпичи», «огарками», «дубьем» и т. п., предлагает единственный выход – ничего не делать, «обременять

землю», и сам не расположен трудиться. Убийца, пьяница, мошенник, равнодушно и жестоко относящийся к живым и погибающим людям, готовый за пятак на всё, – и это «человек, сохранивший достоинство и веру в лучшую жизнь»?! И он еще декламационно провозглашает уважение к человеку! Впрочем, в этом случае он повторяет мысли и слова Луки, и прав Горький, сказав, что они чуждо звучат в устах Сатина. Сатин берет под защиту Луку, называет его умницей, понимающим, что правда заключена в человеке и его возможностях, искренне жалевшим людей и только поэтому обманывавшим их, но вовсе не шарлатанившим.

Лука произвел сильное впечатление на Сатина, старик «из головы вон не идет». В известных монологах он по существу излагает постулаты Луки: и об уважении к человеку, и о том, что человек «всё может» (мысли Горького, некоторые из них дословно прозвучат через год в поэме «Человек»). Оправдав Луку и одарив его панегириком, а после одного из монологов предложив выпить за его здоровье, Сатин переходит к обобщениям, которые критиками восприняты как выпад непосредственно против Луки и его взглядов. Но было бы нелогично, сказав столько добрых слов о старике, тут же устроить атаку на него. Думаю, что не Луку имеет в виду Сатин. Да и сам Горький обмолвился: «Но *из утешений хитрого Луки* Сатин сделал свой вывод – о ценности всякого человека». Да, именно об этом неоднократно говорил Лука. Как видно, он в известной степени оказался наставником ночлежного оратора. «Человек – может добру научить…» – убеждал Лука. Чему-то научил Сатина, чему-то не успел научить. Упомянув о многих лжецах, Сатин быстро переводит монолог в классово-политическую плоскость: «Ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего… и обвиняет умирающих с голода…» Лука к этому не имеет отношения: не оправдывал «тяжесть» и не обвинял «умирающих с голода». А в ночлежке есть всего один бывший рабочий – Клещ, бессердечный индивидуалист, о котором Горький в 30-х годах резко отозвался, отделив его от рабочего класса: «…новой правды он не чувствует и не понимает». Но и ему Лука ничего плохого не сказал и не сделал. Ложь, говорит Сатин, нужна тем, «кто живет чужими соками». Это можно отнести к ханже, крохобору и кровопийце Костылеву, к его остервенелой жене Василисе, но уж никак не к Луке.

Так из чего же следует, что Сатин в своем монологе развенчивает Луку, как нас уверяют многотиражные учебники? В пьесе должно было прозвучать осуждение лжи, прославление правды, возвеличивание человека, а сказать это было некому, не

было среди босяков в пьесе достойных, и, как признавался Горький, он доверил свои мысли и слова недостойному Сатину – не герою.

Отношение к Луке – сеятелю добра, а не зла, к его идеям и поступкам пора пересмотреть, отказавшись от традиционной тенденциозности, предвзятости, упорного непонимания языка искусства. Восторжествует истина, Максим Горький – создатель умной, талантливой пьесы – не пострадает: его творение сказало зрителю больше, чем его же самооценки, мешающие объективному анализу произведения.

Загадки поэмы Блока

…Большевики правы, опасаясь «Двенадцати».

Александр Блок

Знаменитая странная, неразгаданная поэма Александра Блока. Прошло без малого девяносто лет со дня ее появления, а споры о «Двенадцати» продолжаются и разрастаются. К счастью, миновали те времена, когда дискуссии протекали так, как об этом сказано в известной грустной шутке: по-разному выступили Заяц, Ежик, Лиса и другие, а потом встал Лев и выразил общее мнение, после чего дискуссия прекратилась. Теперь дышать стало легче, однако еще не настало время для категорического суждения и исчерпывающего толкования «Двенадцати». И настанет ли? Но можно попытаться по крайней мере отсечь явно абсурдные и поставить под сомнение неубедительные высказывания о поэме, которыми изобиловали статьи, монографии и школьные учебники на протяжении долгих советских десятилетий.

Из них можно было узнать (главное!), что Блок приветствовал большевиков, прославил, воспел Октябрьскую революцию, что поэма выражает политическое кредо создателя. Проникло в печать утверждение, что поэт отрекся от своего творения. Но автор в «Записке о „Двенадцати“» (1 апреля 1920 года, за полтора года до смерти) опроверг измышления тех и других: «Оттого и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией: например, во время и после окончания „Двенадцати“ я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг – шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в „Двенадцати“ политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи… Я смотрел на радугу, когда писал „Двенадцать“: оттого в поэме осталась капля политики». Поэтому напрасно ставят в один ряд публицистическую статью Блока «Интеллигенция и революция» и его поэму: там Блок – философ и публицист, здесь – художник, поэт, здесь радуга, многоцветность, многозначность и невольная «капля политики». Там рассуждение, здесь изображение. Вообще же от политики Блок и прежде не отстранялся: «„Быть вне политики“? С какой же это стати? Это значит – бояться политики, прятаться от нее, замыкаться в эстетизм и индивидуализм, предоставлять государству расправляться с людьми как ему угодно, своими устаревшими

средствами».

Говоря о своей поэзии в 1920 году, Блок предугадывал грядущие тенденциозно политизированные интерпретации новых идеологов. Они возникли и стали господствующими на многие годы. Несколько цитат из учебников разных авторов: Блок показал, что «революционный народ делает великое, святое дело, и оно достойно благословения», а благословляет революционеров не кто иной, как Иисус Христос, образ которого, впрочем, «был чужд народу»; Блок «отвергал религию»; «Блок приветствует происходящее, „Двенадцать“ – поэма, „прославляющая Октябрь“»; «не только в пафосе разрушения, но и в пафосе революционного преобразования видит автор „Двенадцати“ смысл разворачивающихся событий» и т. п. Красногвардейцы, понятно, – апостолы, несущие коммунистическое счастье народу; у Петрухи, «подлинной личности», – высокая духовность и глубокая любовь к Катьке: «Блок возвысил любовь простого человека, которому буржуазная литература отказывала в способности к сложным душевным переживаниям» (цитирую учебник).

Примитивно идеологизированная ложь уживается во многих исследованиях, учебниках и пособиях с полуправдой, благо неопределенность и противоречивость скупых самооценочных заметок поэта оставляла лазейку для конъюнктурных умозаключений «блоковедов». Но кто из мыслящих педагогов способен (или обязан?) повторять ахинею далеких и, увы, близких лет?

Что же на самом деле представляют собой «апостолы революции», какими изобразил их Блок? Куда и зачем они идут? Ведь стержень поэмы, ее смысловой центр – неуклонное движение двенадцати красногвардейцев. Это новые хозяева страны, захватившие власть; они идут «державным шагом», который, правда, иногда сбивается суетливыми перебежками («Стой, стой! Андрюха, помогай! Петруха, сзаду забегай!..»), сопровождается выкрикиванием плакатных лозунгов общего характера и – непрерывно – пальбой из ружей, превращающей живых в трупы и даже снег – в «снежный прах». Они гегемоны надолго, идут «вдаль». Чего хотят? Залить землю кровью, раздуть «мировой пожар в крови», уничтожить буржуев и «толстозадую Русь». Они всюду ищут «незримого лютого врага». О других целях, о созидательных, преобразовательных стремлениях, о благе трудящихся (надежды Блока в упомянутой статье) – ни о чем этом в поэме не говорится. Это темные, неграмотные, невежественные люди, но вполне готовые к варварскому разрушению чего бы то ни было, это уголовники и по внешности, и по сути:

В зубах цигарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!

Они идут «без имени святого», им «всё дозволено». Рефреном и лейтмотивом звучат слова: «Эх, эх, без креста», логично рифмующиеся с «тра-та-та» – очередью, несущей смерть. Для красногвардейцев лишить жизни человека – всё равно что разгрызть семечко. У Блока не бывает случайных сближений строк:

Уж я темячко
Почешу, почешу…
Уж я семячки
Полущу, полущу…
Уж я ножичком
Полосну, полосну!

Знаменательно, что именно с последних двух строк Блок начал работу над поэмой.

За спиной «гегемонов» – пустота: ни человечности, ни культуры, ни высшего Судии: «ко всему готовы, ничего не жаль». И революционный камуфляж не может прикрыть зловещей сущности убийц, получающих удовлетворение от пальбы в кого угодно, будь то гулящая Катька или невидимый Иисус Христос. Сколько радости доставляет им сознание того, что они могут безнаказанно «ножичком полоснуть», или садистское воспоминание о том, как кто-то (может быть, из них же) уже полоснул однажды ножом по Катькиной шее. И «руки в крови» у них давно, и «выпить кровушку» – обычное дело. Слабо верится в благородные цели и «идейные базисы» грабителей и мародеров:

Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи!

Кого грабят? Только богачей? Как бы не так! Это не Дубровский.

Моральный уровень этих не то анархистов, не то большевиков настолько низок, а жизненные понятия и интересы настолько примитивны, что ни о каких глубоких чувствах и высоких помыслах говорить не приходится. Убийство, грабежи, пьянство, разврат, цинизм («спать с собою положи…»), «черная злоба» («святая» ли?) и равнодушие к человеческой личности,

высокомерное презрение к душевному миру человека, ставшего пешкой, прикрываемое ссылками на сложную эпоху, трудности жизни («Верно, душу наизнанку вздумал вывернуть?.. Не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой»), – вот моральный облик тех, кто, по мнению автора учебника, «делает великое, святое дело».

В некоторых учебниках предпринимается, на мой взгляд, безнадежная попытка найти все-таки достойного героя среди красногвардейцев. Я уже упоминал его и цитировал соответствующий опус. Речь идет о Петрухе. В двух учебниках я прочел, что Петруха убил гулящую Катьку из ревности, хотя даже школьники знают, что Петька и не думал губить Катьку, а стрелял, как и его сообщники, в «буржуя» Ваньку. Выпускникам сообщается, что «для автора „Двенадцати“ чувство красногвардейца Петрухи не просто эпизод его жизни, а проявление его духовности, необходимой подлинной личности…» Вот он, оказывается, какой – простой, сложный, духовно-душевный и высоконравственный защитник революции! Таких полноценных, можно сказать, идеальных личностей нет в убогой, прогнившей буржуазной литературе, которая, видите ли, простым людям «отказывала в способности к сложным переживаниям».

Посмотрим же, что это за потрясающая личность и необыкновенная любовь:

Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родники пунцовой
Возле правого плеча…

И это все? Больше ничего о достоинствах возлюбленной «девки» Петька не может сказать, вспоминает только, что проводил с ней «хмельные» ночи. Из-за чего же литературный сыр-бор разгорелся? И старшеклассников уверяют, что автор «Стихов о Прекрасной Даме» и «Снежной маски» преподносит это как «глубокое чувство»? Не смехотворно ли? Да и герой-то наш из-за «пунцовой родинки» блудливой особы страдал недолго. Товарищи – «апостолы», увидев пристреленную Катьку, не моргнув глазом, перешагнули через труп, гаркнув: «Лежи ты, падаль, на снегу» (она же – «дура», «холера»). А Петрухе сказали несколько несочувственных слов. И что же?

Он головку вскидавает,
Он опять повеселел.

Единственная сознательно не зарифмованная строка в поэме. Она останавливает изумленное внимание читателя, который, возможно, сделает вывод: «Ничего себе „глубокая любовь“, „духовность“, „сложная личность“ …На нее и рифмы жалко». К тому же прямо за этой строкой следует:

Эх, эх!
Позабавиться не грех!

Нет тут никакой высоконравственной могучей любви новоявленного героя, а есть символическая группа бандитов, творящих злодеяния. Не двенадцать апостолов, а скорее по Некрасову, высоко ценимому Блоком:

Было двенадцать разбойников.
Был Кудеяр – атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан…
Пьянство, убийство, грабеж…

Они идут вдаль, всё больше погружаясь в «кромешную тьму». В Библии сказано:

> Стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня.
>
> Путь же беззаконных – как тьма; они не знают, обо что споткнутся (*Прит. 4, 18–19*).

Таковы красногвардейцы, изображённые Александром Блоком, такими он их увидел, такой «шум» вместо «музыки революции» он услышал. И давно пора перестать подвергать головы детей старокоммунистической обработке, выдавая черное за белое.

Из статьи в статью кочует оправдательное клише: «Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? Потому, что там насиловали и пороли девок…» и т. п. Но эти слова Блока лишь объясняют некоторые возможные причины крестьянского мщения, «бессмысленного и беспощадного». Вспоминается рассказ М. Горького о том, как крестьяне, расположившиеся после Октябрьского переворота в Зимнем дворце, с мстительным удовольствием испражнялись в драгоценные вазы, хотя туалеты были рядом. Не думаю, что, даже объясняя причины преступного сожжения любимой шахматовской усадьбы, личной библиотеки,

Блок мог бы назвать это святым делом. И ссылки на отвращение Блока к буржуазии, на отдельные устные высказывания о революции и даже на его статьи не всегда помогают при анализе такой поэмы, как «Двенадцать». Да и высказывания Блока противоречивы. В том же январе 1918 года он с горечью записывает в дневнике, что разрушают церкви, даже Кремль, не «во имя высших ценностей», а «только из озорства».

Известно, что герои Пушкина, Бальзака, Толстого жили своей жизнью, порой удивляя их создателей, а идейный замысел мог неожиданно трансформироваться в процессе его художественного воплощения. Красногвардейцы Блока живут и ведут себя естественно для них, а не так, как хотелось бы иным критикам и популяризаторам. Здесь, в поэме, автор выступает как гениальный художник, наблюдатель, вышедший на завьюженную петербургскую улицу и сумевший увидеть, услышать и отразить творящееся вокруг.

«В январе 1918 года я последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914», – признавался поэт. А несколько раньше, 14 апреля 1917 года, он сделал такую запись в дневнике: «Я не имею ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы я поставлен свидетелем великой эпохи. Волею судьбы (не своей слабой силой) я художник, т. е. свидетель».

Именно в качестве художника автор, создавая свою поэму, как видно, не ставил перед собой никаких агитационных задач. Это подтверждает и его «Записка о „Двенадцати“». В то же время идейная позиция Блока в самом начале 1918 года достаточно определенно выражена в его публицистике тех дней, более всего – в статье «Интеллигенция и революция». В этой статье он еще полон веры в благие начинания и цели большевиков: «Переделать всё. Устроить так, чтобы всё стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью». Иллюзорные ожидания лопнут, отрезвление и разочарование наступят очень скоро и приведут к трагическим последствиям, но пока Блок, так же как и многие представители российской интеллигенции, – во власти радужных мечтаний.

Ряд свидетельств современников подтверждает, что состояние самообмана у Блока было кратковременным. Двоюродный брат поэта записал слова Блока об изменении его взглядов: «Это произошло до весны 1918 года. А когда началась Красная Армия и социалистическое строительство (он как будто поставил кавычки в эти последние слова), я больше не мог. И с тех пор не пишу».

Вспоминает Андрей Белый: «…он говорил, что не мог бы

выйти даже на улицы Петрограда: не вынес бы чисто внешнего вида теперешней жизни…»

Запись в дневнике поэта от 21 августа 1918 года: «Как безвыходно всё. Бросить бы всё, продать, уехать далеко на солнце и жить совершенно иначе».

Исходя из всего сказанного, мне кажется, надо, с одной стороны, учитывать политическое кредо Блока короткого январского периода 1918 года, а с другой (и это главное) – рассматривать поэму как произведение, не находящееся в рабской зависимости от сиюминутных политических настроений автора. Весьма любопытно воспоминание Корнея Чуковского, часто общавшегося с поэтом: «Написав „Двенадцать“, он все эти три с половиной года старался уяснить себе, что же у него написалось. Многие помнят, как пытливо он вслушивался в то, что говорили о „Двенадцати“ кругом, словно ждал, что найдется такой человек, который наконец объяснит ему значение этой поэмы, не совсем понятной ему самому…»

Однажды Горький сказал ему, что считает его поэму сатирой. – «Это самая злая сатира на всё, что происходило в те дни. – Сатира? – спросил Блок и задумался. – Неужели сатира? Едва ли. Я думаю, что нет. Я не знаю.» (*К. Чуковский.* Александр Блок как человек и поэт, 1921). Интересно, что «едкой сатирой на русскую революцию, на ее опошленные лозунги» назвал «Двенадцать» и Юлий Айхенвальд.

Мы уже видели, как, несмотря на веру в революцию духа, в правоту «священного безумия» народа, крушащего старый мир, и ожидание близкой освежающей грозы, Блок крайне нелестно изобразил красногвардейцев, олицетворяющих новую власть. Но не исключено, что где-то, подспудно, у Блока притаилась идея о том, что этих людей, их порочность, можно оправдать, можно их простить, ибо таков менталитет России, а Россия (всякая!) всё равно любима. По поводу этой особенности поэта замечает Даниил Андреев («Роза мира»): «Любые берлоги утробной, кромешной жизни, богохульство и бесстыдство, пьяный омрак и разврат —

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Не только такой, но уже именно такой». И Д. Андреев добавляет: «Это другой вид мистического сладострастия». С автором «Розы мира» можно спорить, но не эта ли позиция и не такая ли любовь к России заставила честного, искреннего поэта внести в поэму ту «каплю политики», по его выражению, которая

осталась в ней? Это, пожалуй, те немногие строки, в которые просочилось сквозь преобладающую иронию некое сочувствие красногвардейцам: «Как пошли наши ребята…» (3-я глава). Впрочем, и здесь не воспевание и не идейная поддержка, а скорее просто человеческое сострадание юным обманутым людям, испытывающим не вдохновение и радость, а «смертную скуку» и «горе горькое» (ср. также гл. 8), одетым в «рваное пальтишко» и с ружьецом идущим на явную гибель – «буйну голову сложить» ради того, чтобы «раздуть мировой пожар в крови». Весь основной текст рисует жуткий образ оголтелых бандитов, и здесь победа Блока – художника и Блока – объективного свидетеля событий над «политиком» несомненна.

Но если современная характеристика красногвардейцев, предложенная выше, на мой взгляд, не должна вызывать серьезных возражений, то решение другой проблемы, чрезвычайно важной и имеющей прямое отношение к выяснению смысла всей поэмы, в том числе к осмыслению роли красногвардейцев, остается весьма спорным и запутанным. Я имею в виду место и роль в произведении образа Иисуса Христа. Об этом в литературоведении упоминали вскользь и, как правило, в двух вариантах:

1) Блок хотел подчеркнуть святость и величие Октябрьской революции;

2) эта концовка – досадная оплошность поэта, несоответствие общему пафосу поэмы.

И, конечно, самым распространенным утверждением было то, что Христос возглавляет шествие революционеров. Два примера: «Блок со всей остротой чувствовал, насколько канонический образ „спасителя“ и „искупителя“, ставший орудием поповщины, в течение веков служивший целям духовного угнетения и лживого утешительства, противоречит всей идейно-художественной тональности его поэмы» (*В. Орлов.* Поэма Александра Блока «Двенадцать». М., 1967).

«Поставить во главе красногвардейцев Христа означало со стороны поэта благословить революцию» (А. Турков в учебной книге «Русская литература XX века». М., 1994).

Попробуем разобраться. Христос упомянут в поэме несколько раз. «Господи, благослови!» – восклицают революционеры, не верующие в Бога, но призывающие Его благословить безбожно раздуваемый ими «мировой пожар в крови». Они же, придравшись к слову, наставительно вразумляют Петруху, невзначай обмолвившегося: «Ой, пурга какая, Спасе», что обращаться к Спасителю бесполезно и, очевидно, не подобает атеистам – защитникам Октября. И, наконец, торжественный авторский текст

концовки – явление Христа с кровавым флагом в руке – эпизод ключевой. «Ой, пурга какая, Спасе» – не стоит принимать всерьез, это такое же бытовое выражение, как «боже мой», в нем нет религиозного содержания. Кто выкрикнул «Господи, благослови!» – неясно, но на этот возглас красногвардейцы почему-то не отреагировали, хотя он значительнее оговорки Петрухи. Чем это объяснить – не знаю.

Главная идейная загадка (или разгадка?) заключена в последней строфе поэмы. Судя по дневниковым записям, эта концовка беспокоила не только советских литературоведов, но не давала покоя и Блоку, который ни разу не прокомментировал своей поэмы, не объяснил публично и смысла ее последних строк, но из его записей, не предназначенных для печати, можно сделать вывод, что Христос как-то связан с красногвардейцами, хотя и не идет «во главе» их, а находится где-то впереди, невидимый за вьюгой, над вьюгой, над происходящим на земле. Дневниковые записи и высказывания Блока по этому поводу крайне немногочисленны: «Я только констатировал факт: если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь „Исуса Христа“. Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак». И слово «призрак», и кавычки вокруг имени Христа – всё как будто говорит о мираже, иллюзорности, нереальности видения «на этом пути». Однако есть и запись о «страшной мысли», поразившей поэта: с красногвардейцами должен идти не Христос, а Другой (20 февраля 1918 года).

Но кто же все-таки появляется в поэме и с кем он? Только что, дописав последние строки, Блок назвал себя гением, но в тот же миг обрек себя на мучительную внутреннюю борьбу: «Что Христос идет перед ними – несомненно. Дело не в том, „достойны ли они его“, а страшно то, что опять Он с ними, и другого пока нет; а надо Другого? – Я как-то измучен». Теперь, кажется, ход мыслей Блока становится яснее: да, это Христос, и он идет с красногвардейцами, хотя они этого не заслуживают, их сопровождать должен кто-то Другой. По поводу Другого можно строить какие угодно догадки: земной начальник, комиссар и тому подобное (но к чему тогда значительность прописной буквы?) – или лже-Христос, антихрист, предсказанный Священным Писанием (к последней версии склонялся Анатолий Якобсон).

Сейчас нам важно выяснить, что виделось Блоку. А ему, когда он писал свое произведение, виделся Иисус Христос «в белом венчике из роз», идущий с бойцами революции. Христос ли? Вернемся чуть позже к этому вопросу, а сначала выслушаем два мнения авторитетных людей. «Имя Христа произнесено всуе», –

заключил Ю. Айхенвальд («Александр Блок», 1921). А Максимилиан Волошин еще в октябре 1918 года заметил: «… Христос вовсе не идет во главе двенадцати красногвардейцев, а, напротив, преследуется ими…» («А. Блок и И. Эренбург»). М. Волошин прав: он читал поэму, а не записные книжки Блока, но где в поэме сказано, что Христос «с ними» или «во главе» их? Не сказано. Нет, Христос не ведет за собой красногвардейцев. Блок летом 1918 года писал художнику-иллюстратору Ю. Анненкову: «Самое конкретное, что могу сказать о Христе: белое пятно впереди, белое, как снег, и оно маячит впереди, полумерещится – неотвязно; и там же бьется красный флаг, тоже маячит в темноте. Всё это – досадует, влечет, дразнит, уводит вперед за пятном, которое убегает». Белое пятно на фоне черного ночного неба *убегает* от преследующих его красногвардейцев – вот символика Блока, не дающая оснований для тенденциозных политических трактовок.

Кого же они ищут во тьме ночной? «Буржуи» разгромлены. Один вон стоит, жалкий, на перекрестке. Зачем его искать? Ванька? В него стрельнуть можно, но какой он «буржуй»? Однако поиск продолжается, и много лет еще будут искать и уничтожать реальных и мнимых врагов. Обратимся снова к Волошину:

Буржуя не было, но в нем была потребность.
Для революции необходим капиталист,
Чтоб одолеть его во имя пролетариата.

Его слепили наскоро:
из лавочников, из купцов,
Помещиков, кадет и акушерок.
Его смешали с кровью офицеров,
Прожгли, сплавили в застенках Чрезвычаек,
Гражданская война дохнула в его уста…

М. Волошин «Буржуй», 1919

Реальных врагов, «буржуев», нет: «паршивый пес» «ковыляет позади», и теперь новые хозяева жизни ищут «незримого врага». Он наконец найден: вроде бы свой, «товарищ», да еще с красным флагом в руке, но подозрительно прячется за стенами домов. Расстрелять! Они не знают, что это Иисус, и не в силах убить его, но выстрелы символичны, а символы в поэзии Блока играют не последнюю роль.

Мне довелось прочесть проповедь о. Павла Флоренского «Вопль крови», произнесенную в 1906 году, Поразила одна фраза:

«Но неужто оттого только, что Христос не виден, стрелять в Него можно?» Кто знает, быть может, Блок был знаком с этой проповедью, возможно, эта мысль получила неожиданное развитие в «Двенадцати». К многочисленным преступлениям вершителей революционного террора добавляется и этот грех отступничества от главной заповеди – о любви к Богу.

Правда, М. Волошин считал, что Блок изобразил «двенадцать безликих людей, в темноте вьюжной ночи вершащих свое дело распада и в глубине темного сердца тоскующих о Христе, которого они распинают». Но на чем основаны эти предположения? На возгласе «Господи, благослови!»? Неубедительно. Однако эта мысль Волошина получила парадоксальное продолжение в статье Б. Сарнова «Новые люди на арене истории» («Литература», 1994, № 12). «Смысл блоковской поэмы в том, – пишет Б. Сарнов, что эти двенадцать гонителей Христа – они-то и есть самые верные и истинные его апостолы…» И далее: «Он их осеняет, и благословляет, и ведет. Потому что в их безумии, в их маниакальности, в их одержимости живет и неиссякаемая жажда истины, и неистребимая вера в Него».[6] Автор статьи называет красногвардейцев «апостолами *новой веры»,* которая «отныне и навсегда должна утвердиться», как и «новая, иная, *перевернутая* шкала моральных ценностей».

При всем уважении к Бенедикту Михайловичу Сарнову не могу принять его версию, так как она не опирается на текст поэмы. «Новая вера»? Во что и в кого верят разрушители, живущие «без имени святого»? В поэме об этом ничего не сказано. В худшем случае – ни во что, в ином варианте – в большевиков, в Ленина, Троцкого. Но при чем тут Христос? С его апостолами они не имеют ничего общего. Куда он, Иисус, может их вести и на какие дела благословлять? Может ли Христос приветствовать и поддерживать «перевернутую шкалу моральных ценностей»? «Что же это за апостолы, которые выходят охотиться на своего Христа?» – справедливо негодовал М. Волошин. Да и Христос ли изображен в поэме? Если принять концепцию Б. Сарнова и согласиться с тем, что озлобленные бандиты – это и есть «истинные апостолы», то они апостолы антихриста, дьявола, не иначе. Но если в конце поэмы появляется лже-Христос, тогда и вся трактовка произведения должна быть «перевернутой». Однако та необыкновенная, истинно блоковская лирическая нежность, с которой написаны выбивающиеся из общего стиля поэмы последние строки, наряду с мучительными откровениями дневниковых записей, убеждает: в конце поэмы – явление Христа.

Обратимся к личности Иисуса, каким он предстает в канонических евангелиях (на них и ссылается Блок, говоря в

дневнике о «Двенадцати»). Само имя «Иисус» означает «Спасение». Таким образом, речь идет о Сыне Божьем, Спасителе, посланном на землю, чтобы своими страданиями искупить грехи людей, спасти человечество. Он воскрешает мертвых, исцеляет больных, насыщает хлебом голодных, учит любить ближних и прощать своих врагов, помогать бедным и униженным, сулит горькую судьбу «не в Бога богатеющим», узурпаторам власти, призывает народ к покаянию. В случае истинного раскаяния самые страшные грешники могут рассчитывать на Божие милосердие (*см.* Нагорную проповедь Иисуса: Евангелие от Матфея, гл. 5–7).

Противоречит ли всему этому явление Христа в конце поэмы Блока? Думаю, что нет. Вероятнее всего, Иисус и выступает здесь как Спаситель грешных душ заблудших в политическом мраке людей. Он надеется на раскаяние тех, которые «не ведают, что творят». Остановить дикий разгул, образумить и вернуть душегубов в лоно Божие – это истинное дело Христа, а не возглавить и не благословить их на дальнейшие злодеяния. Вот что, по-моему, означает явление Христа, В известном письме Блока Ю. Анненкову есть любопытная мысль: «Если бы из левого верхнего угла „убийства Катьки“ дохнуло густым снегом и сквозь него – Христом – это была бы *исчерпывающая обложка»* (курсив Блока). Почему Христос должен появиться в момент убийства Катьки? Ведь не для того же, чтобы освятить эту бессмысленную расправу. Блудница Катька и ее убийца нуждаются в искуплении грехов, в прощении.

Упокой, Господи, душу рабы твоея…

(8-я глава поэмы)

Христос – «в белом венчике из роз». По этому поводу недоумевают и высказывают предположения. Свое мнение неуверенно выразил С. С. Аверинцев: «Особняком стоит фигура Иисуса Христа „в белом венчике из роз“ (влияние католической символики? Реплика образа Заратустры у Ницше?..» («Мифологический словарь», 1991).

По-другому комментировал эту строку Д. С. Лихачев («Заметки и наблюдения»: «В символике православия и католичества нет белых роз. Но это могли быть те бумажные розы, которыми украшали чело „Христа в темнице“ в народных церквах и часовнях». Лихачев рекомендовал обратиться к «Истории первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря» (СПб, 1899, с. 49), где имеется такое изображение

Иисуса.

Анатолий Якобсон напомнил стихи Блока, где Иисус уже являлся в грозном 1905 году не в терновом венце, а в «цепях и розах»:

> Вот он – Христос – в цепях и розах
> За решеткой моей тюрьмы.
> Вот Агнец кроткий в белых ризах
> Пришел и смотрит в окно тюрьмы.

Это отнюдь не воинственный и революционизированный Христос, а «Агнец кроткий». Однако в поэме «Двенадцать» у него в руках флаг. Характерно, что красногвардейцы видят *красный* флаг, но в последней строфе, где звучит голос самого Блока, флаг наливается кровью, становясь *кровавым* флагом. По мнению М. Волошина, «кровавый флаг – это новый крест Христа, символ его теперешних распятий». В письме к Ю. Анненкову Блок выразился неопределенно: «Христос с флагом – это ведь – „и так и не так“». Сути дела это не меняет. Бандиты остаются и в поэме бандитами, а Сын Божий – Сыном Божьим.

Я предложил свое истолкование заключительной строфы поэмы. Журнал «Знамя» (2000, № 11) опубликовал иные трактовки. Вот некоторые из них:

> «Белый венчик из роз» – мистическая белая роза (святая кровь) – таков завершительный образ «Двенадцати»: ключ к толкованию этой поэмы, более «религиозной», нежели «революционной». А еще точнее – религиозно-бунтарской, «по-блоковски соединившей в себе святость и святотатство, белое и красное» (*К. Азадовский*).

> Блоковский Христос является «по ту сторону добра и зла»; для поэта он главным образом – универсальный символ того, что наступает «всё новое», что пришли давно им предрекавшиеся «неслыханные перемены, невиданные мятежи» (*А. Лавров*).

> Двенадцать идут в слепой метели, вьюге, они не видят Христа, но можно допустить, что на каком-то витке истории они встретятся: жажда спасти душу приведет к Христу (*С. Лесневский*).

> Это не благословение происходящего, не

«освящение» стихийного разгула страстей, а изгнание бесов, преодоление стихийного аморализма, залог будущего трагического катарсиса для героев поэмы (*Дина Магомедова*).

Строфа поэмы, о которой спорят, многозначительна. Это конец поэмы, и это начало чего-то нового, важного в жизни человека и государства, ибо символическое появление Христа должно повлечь за собой какие-то действия, быть может, серьезные преобразования. Какие? В чем? В ком? Поэт сказал всё, что мог. Нам же остается еще долго размышлять и предполагать – занятие увлекательное и небесполезное.

Свобода слова и перст указующий

Школьные экзамены ушли, но не в Лету канули. Не первые они и не последние. Через год – новые. Будем ли мы, как всегда, наступать на грабли? Так как предлагаемые свыше темы сочинений зачастую бывают неудобоваримыми для школьников, выпускники 11-х классов в этих случаях предпочитают экзаменационное изложение. О нем и пойдет речь.

Форма вроде бы знакомая с девятого класса: пересказ и выполнение задания. Почти все с пересказом справляются сравнительно легко, а вот задание теперь требует глубины, основательности, самостоятельности, знания теории литературы. (Замечу в скобках, что и третья часть ЕГЭ по русскому языку (С) – рассуждение – вызывает большее затруднение у ребят, чем тесты двух первых частей.)

Важной задачей, которая, очевидно, мучила тех, кто готовил экзаменационный материал, был подбор текста для изложения. В этот раз комиссия остановила выбор на фрагменте из книги Л. К. Долгополова «Поэма Александра Блока „Двенадцать“». Я читаю этот текст, и он вызывает у меня реакцию отторжения.

Куда, к каким берегам, к каким выводам и на каком основании ведет читателей автор книги? По его версии красногвардейцы в поэме проходят путь «внутреннего развития» – от беззаботного существования (этот этап их жизни весьма странно иллюстрируется строками: «Гуляет ветер, порхает снег, // Идут двенадцать человек») – к приобретению «жизненного» (кавычки автора) опыта и превращению в апостолов революции (в положительном смысле). Процитированное двустишие открывает вторую главу поэмы, и следующие за ним строки подтверждают, что эти «апостолы» уже не «порхают» (и раньше не порхали), никакого пути развития от «беззаботности» к революционному террору не проходили и в той же второй главе предстают как вполне сложившиеся безбожники («Эх, эх, без креста!») и бандиты, и по виду, и по сути, беспрестанно палящие из ружей во всё и во всех, в том числе и в святую Русь.

Видимо, чувствуя шаткость предыдущего аргумента Л. К. Долгополов выдвигает новый: убийство Катьки – «грань, за которой стали изменять свой облик двенадцать апостолов». Неужели все-таки изменили? Как же! Убивают «толстоморденькую» шлюху в шестой главе, а в следующей «изменившие свой облик» красногвардейцы устраивают грабежи, пьянствуют и желают «позабавиться» с девицами. А дальше – больше; они и «ножичком полоснут», и «выпьют кровушку», и

также будут шествовать «без имени святого», и наконец – стрелять в самого Христа. Если это «изменения», то в какую сторону?

Христос, по версии Долгополова (цитирую только фрагмент книги), «оправдывает стихию и „разрушение“» (ох уж эти его кавычки!) и дает красногвардейцам «важное для Блока „во имя“». Во имя чего? Во имя разжигания «мирового пожара в крови»? О строительстве нового в поэме ни слова. И оправдывает ли Спаситель «разрушение» («с кровавым флагом» – доказательство, считает критик)? По мнению поэта-мыслителя М. Волошина, «кровавый флаг – это новый крест Христа, символ его теперешних распятий».

Весь текст фрагмента выдержан в безапелляционном, категоричном тоне и не предполагает дискуссий. Оказывается, по Долгополову, герои поэмы «пробиваются» к Христу, «иносказательно к самим себе – какими они должны стать…» «Христос в „Двенадцати“ – символ новой эры… всего того, чего должны достичь… шествующие за ним апостолы революции». И словно не заметил автор, что они *преследуют* Христа, принимая его за «товарища», скрывающегося за домами и размахивающего красным флагом, *стреляют* в Него бессмысленно и нелогично, но им ведь «ничего не жаль». И никого.

Нигде в поэме не говорится о том что красногвардейцы шествуют за Христом и что он ведет их. Да это и невозможно. Иисус по всей сути не может возглавлять банду безжалостных и безбожных убийц; он Спаситель, которого они не видят за вьюгой, Он может привести их к покаянию, к отказу от кровопролитий и разрушений, от террора, спасти таким образом их души. Но это уже другое, истинное назначение Христа, которого полудикие фанатики, а не апостолы, пытаются убить.

Теперь совершенно ясно, куда, к каким выводам и на каком основании ведет одиннадцатиклассников товарищ Долгополов. Он возвращает их к тем однозначным трактовкам поэмы, которые затвердели в годы советского единомыслия и канонизировались в учебниках литературы. Книга Л. К. Долгополова вышла в 1979 году, создавалась еще раньше, то есть примерно тридцать лет назад.

В прошедшие десятилетия многое изменилось в нашей стране: стала рождаться свобода слова, появились новые литературоведческие статьи и книги, иные толкования смысла поэмы Блока, в частности, ее финала. Причем в лучшем случае исследователи исходят из содержания поэтического произведения (чему и детей учить надо), а не из принятых в 70-е годы трактовок и даже не из интересных и, безусловно, важных

сведений (дневники Блока, его статьи и др.), которые необходимо знать, но не подменять ими художественный текст поэмы. Это то, чем реальная критика отличается от схоластической, как говаривал Н. А. Добролюбов. Между прочим, в самом конце предложенного фрагмента мелким шрифтом напечатано главное, и с помощью лупы можно прочесть: «…выпускник может пользоваться текстом поэмы А. Блока». Умный ученик воспользуется этим советом, пошелестит страницами, не найдет в поэме того, что проповедует Л. К. Долгополов, и, даст Бог, выдаст самостоятельный ответ на поставленный с позволения «службы по надзору в сфере образования» вопрос о смысле произведения.

Но, согласитесь, большая часть учеников, привыкшая беспрекословно доверять авторитетному грифу и тексту, будет внимательно следить за перемещением указующего перста вышестоящего товарища и «свое мнение» построит в соответствии с указанным направлением. А зачем? Зачем отбирать для экзамена устаревшие тексты, суждения, зная, что есть более свежие и более интересные версии, над которыми стоит задуматься? Это касается и существенных деталей финальной, очень непростой строфы «Двенадцати». Несколько примеров.

> Блоковский Христос является «по ту сторону добра и зла»; для поэта он главным образом, – универсальный смысл того, что наступает «всё новое», что пришли давно им предрекавшиеся «неслыханные перемены, невиданные мятежи» (*А. Лавров*).

> Это не благословение происходящего, не «освящение» стихийного разгула страстей, а изгнание бесов, преодоление стихийного аморализма, залог будущего трагического катарсиса для героев поэмы (*Дина Магомедова*).

> Двенадцать идут в слепой метели, вьюге, они не видят Христа, но можно допустить, что на каком-то витке истории они встретятся: жажда спасти душу приведет к Христу (*С. Лесневский*).

Христос – «в белом венчике из роз». По этому поводу читатели недоумевают и дискутируют, а специалисты высказывают любопытные предположения. «Белый венчик из роз, – считает К. Азадовский, – мистическая белая роза (святая кровь) – таков завершительный образ „Двенадцати“: ключ к толкованию этой поэмы, более „религиозной“, нежели „революционной“… по-блоковски соединившей в себе святость и

святотатство, белое и красное».

Свое мнение неуверенно выразил С. Аверинцев: «Особняком стоит фигура Иисуса Христа „в белом венчике из роз“ (влияние католической символики?). Реплика образа Заратустры у Ницше?..»

По-другому комментировал эту строчку Д. Лихачев («Заметки и наблюдения»): «В символике православия и католичества нет белых роз. Но это могли быть те бумажные розы, которыми украшали чело „Христа в темнице“ в народных церквах и часовнях».

Я привожу эти высказывания в расчете на интерес учителей-словесников. Ученики их не ведают, если они не звучали на уроках, но ребятам не мешает знать, что мнение Долгополова о финале поэмы далеко не единственное. В самом тексте или в задании должен содержать хотя бы намек на это. В противном случае официозная или субъективная точка зрения и аргументация автора фрагмента давит на сознание экзаменуемого и вынуждает его следовать по указанному пути. Перст указующий литературоведению противопоказан.

Я думаю, что и прошлогодний выбор текста для изложения в 11-м классе был неудачен, так как основывался, возможно, на тех же идеологических принципах, что и нынешний. Почему, спрашивается, в сотнях работ, посвященных Некрасову, не нашли ничего лучшего, чем фрагмент статьи вульгарного материалиста и не менее вульгарного и тупо-тенденциозного революционного критика М. Антоновича? Даже в этом фрагменте содержались весьма сомнительные умозаключения, с которыми не искушенные филологи, а обыкновенные школьники вынуждены были соглашаться, старательно пересказывая измышления «авторитета».

Удивительно: должно быть, умные люди ворошат страницы книг, отбирая лучшее, проблемное, доступное старшеклассникам благородное чтиво, обдумывают задания к изложению, формулировку вопроса… Так в чем же дело? Почему мы так часто спотыкаемся?

«…У лефов появился Пушкин…»

«Пушкин с Маяковским бы сошлись»?

В величии Пушкина – национального гения, овеянного всенародной любовью, кажется, никто не сомневается. Имя второго поэта на протяжении XX века вызывает бесконечные споры и диаметрально противоположные оценки, что само по себе свидетельствует о его незаурядности. В последние годы наиболее яростные обличители Маяковского чаще всего признают исключительную одаренность и мастерство его, не забывая при этом произносить напрашивающееся многозначительное «но», которое иногда и становится главным объектом их пристального внимания. Вероятно, самый характерный пример – разоблачительная книга Ю. Карабчиевского «Воскресение Маяковского» (1990), завершающаяся, впрочем, неожиданным объяснением автора в сохраненной любви к безответному поэту.

Тема «Маяковский и Пушкин» родилась в двадцатые годы и, едва прозвучав, сразу вызвала разноголосицу, бурлившую до 1935 года и вновь разгоревшуюся в период «перестройки» и многочисленных литературных переоценок. В 1924 году Маяковский в стихотворении «Юбилейное» позволил себе в шутливой форме поставить собственное имя рядом с пушкинским, чем, понятно, немедленно навлек на себя град нападок строгих литераторов, уличавших в мании величия «гениальничающего поэта» (выражение Г. А. Шенгели). Статьи на тему «Маяковский и Пушкин» изредка стали появляться в тридцатые годы после сталинской оценки Маяковского (в 1935 году) как «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи», безразличие к памяти и произведениям которого объявлялось преступлением.

Статьи и отдельные высказывания, как правило, основывались на крайне скудном материале и по-разному трактовали позиции Маяковского. Одни уверяли, что он всегда, с 1912 и до 1930 года, будучи чуть ли не от рождения социалистическим реалистом, относился к Пушкину благожелательно или благоговейно. В подтверждение цитировались соответствующие строки «горлана-главаря». Другие признавали эволюцию взглядов поэта и даже вспоминали отдельные «неудобные» фразы Маяковского, но спешили во что бы то ни стало оправдать любое заявление «лучшего, талантливейшего».

Сближение имен Маяковского и Пушкина шло обычно по заштампованной дороге сопоставления одних и тех же произведений или строк, скажем, «Вакхической песни» и

«Необычайного приключения…» – для доказательства светозарности и неиссякаемого оптимизма того и другого. Среди читателей же бытовало и поныне нередко бытует мнение, что сближение этих имен вообще немыслимо. А между тем высоко ценившая Маяковского Марина Цветаева была убеждена, что «Пушкин с Маяковским бы сошлись, никогда по существу и не расходились. Враждуют низы, горы – сходятся». Где же правда? Эта проблема ждет заинтересованного исследователя. Для меня же несомненно, что вопрос об отчужденности или близости двух поэтов, как и вопрос о пушкинских традициях и новаторстве Маяковского, во многом связан с зигзагами *отношения* поэта XX века к Пушкину.

В данной статье я хотел бы остановиться лишь на эволюции взглядов Маяковского на личность и творчество Пушкина, не ставя своей целью ни оправдание, ни осуждение высказываний поэта, а только (по возможности) объяснение их и ознакомление с ними читателей.[7]

«Сбросить Пушкина…»

Начнем с 1912 года, когда девятнадцатилетний бунтарь Маяковский в футуристическом угаре и юном задоре подписал своеобразный манифест «Пощечина общественному вкусу», призывавший «сбросить Пушкина с Парохода Современности». Речь шла не только о Пушкине, «сбросить» предлагалось и Достоевского, Толстого, Горького, Блока и многих других, но Пушкин в поэзии – непререкаемый эталон, и, как известно, борьба за приобщение к этому эталону, за «своего» Пушкина, свое литературное знамя шла на протяжении столетия по крайней мере. Разошлись во мнениях литературоведы и после Октября 1917 года: вульгарные социологи изо всех сил революционизировали Пушкина (П. Н. Войтоловский и др.), представляя поэта чуть ли не марксистом. Другие непомерно раздували дворянские «предрассудки» Пушкина, уверяли, что его поэзия совершенно чужда советской эпохе; третьи, в поисках религиозных мотивов его творчества, словно бы не замечали социального содержания его произведений, и т. д. Но «сбросить за борт» великого поэта до футуристов всерьез пытался только Писарев.

Я встречал утверждения литературоведов о том, что геростратовски знаменитая фраза манифеста не соответствовала тогдашним взглядам Маяковского и что он якобы поставил свою подпись только в силу организационной связи с футуристами. Думается, что это не так. Стихи и ряд статей Маяковского подтверждают, что подобное заявление не было случайным. Нет, не Пушкин, любимый поэт Маяковского (звучит, может быть, парадоксально, но, судя по многочисленным высказываниям Маяковского, по неизменному интересу к поэзии Пушкина, знанию наизусть огромного количества пушкинских строк и т. п., судя по всему, – любимый), нет, не Пушкин раздражал Маяковского и вызывал его атаки, а позиция власть предержащих и литературных критиков, противопоставлявших «глашатаю революции» классиков. И так было всегда на протяжении двадцати лет творческой жизни Маяковского. Но имели значение и некоторые эстетические принципы поэта, о которых пойдет речь ниже.

Поначалу гнев Маяковского вызывало желание властей оказёнить, пригладить хрестоматийного Пушкина, приспособить его к официально узаконенной идеологии, превратить его поэзию в прикладное средство внедрения в массы благочиния, верноподданничества и убогой мещанской благопристойности.

Против этого протестовал Маяковский в статье «Два Чехова» (1914): «Из писателей выуживают чиновников просвещения, историков, блюстителей нравственности… Так, в одном из южных городов ко мне перед лекцией явился „чин“, заявивший: „Имейте в виду, я не позволю вам говорить неодобрительно о деятельности начальства, ну, там Пушкина и вообще“». Об этом эпизоде поэт упомянул и в автобиографии «Я сам». Характерны воспоминания Марины Цветаевой о своем детском восприятии одного издания Пушкина: «…обезвреженный, прирученный Пушкин издания для городских училищ… Книжку я не любила, это был *другой* Пушкин… Но, помимо содержания, отвращало уже само название: *для городских училищ,* вызывавшее что-то злобное, тощее и унылое…» («Мой Пушкин»). И еще одно свидетельство умного очевидца и активного участника литературной жизни (речь идет о периоде 1914–1916 годов): «Пушкин по каким-то непостижимым причинам сделался в те годы прикрытием для всего скудного, тусклого, тривиального, трафаретного, чопорного. Всякая светская барыня, кропающая жидкие стишонки о розах, мимозах, очах и ночах, похвалялась своей близостью к Пушкину. Пушкин стал знаменем самых косных, реакционных литературных кругов…» (*К. Чуковский* «Два поэта»).

В этих условиях, казалось бы, и должен был ополчиться на Пушкина мятежный искатель новых путей. Но он не ополчился. Он даже взял поэта под защиту, когда литературный мэтр Брюсов в 1916 году умудрился дописать за Пушкина «Египетские ночи»:

Разбоя след затерян прочно
во тьме египетских ночей.
Проверив рукопись
построчно,
гроши отсыпал казначей.
Бояться вам рожна какого?
Что
против – Пушкину иметь?
Его кулак
навек закован
в спокойную к обиде медь!

В «Гимне критику» (1915) имя Пушкина соседствует с именем Данте, а в «Теплом слове кое-каким порокам» (1915) – с именами Щепкина и Врубеля. Пушкин для Маяковского и в этот период – великий поэт, живой, интереснейший человек, самобытная личность. Но «новое время – новые песни», новые формы. Эта идея была в крови у Маяковского с самого рождения его первых

стихов. Он упорно ищет формы, адекватные новому содержанию, новой эпохе, ищет и находит свое поэтическое лицо. А ему твердят: «Это плохо, потому что не так, как у Пушкина». И он отвечает: «Вот с этим очиновничаньем, с этим канонизированием писателей-просветителей, тяжелою медью памятников наступающих на горло освобождающегося искусства слова, борются молодые» («Два Чехова»). Долгую борьбу за *право* (это слово выделено и в «Пощечине…») иметь свой образ мыслей, свой стиль, свой стих, то есть быть Маяковским, поэту придется вести всю жизнь. В одной статье я прочел, что Маяковский в ранние годы выступал лишь против формы пушкинских стихов, что его не устраивали их ритм, язык и тому подобное. Но и это не так. Словесное мастерство Пушкина восхищает Маяковского, провозглашавшего (по крайней мере до 1914 года) примат формы над содержанием. Классика он называет «веселым хозяином на великом празднике бракосочетания слов» («Два Чехова»), а упрекает как раз в подчинении творчества просветительским и воспитательным задачам. Причиной всех «неудач» гения он объявляет «отношение к поэзии не как к цели, а как к средству, как к вьючному животному для перевозки знаний» («Поэты на фугасах», 1914). В данном случае не вызывает сомнения ошибочность однобоких суждений Маяковского о Пушкине. Но ясно, что литературные принципы Пушкина, как их понимал тогда Маяковский, не соответствовали его эстетическим установкам.

Это было второй причиной раздражения Маяковского, когда перст указующий переводил его взгляд на пушкинский эталон. Разумеется, и характер творений футуриста в этот период трагически-пессимистическим и индивидуалистическим настроем, отвлеченностью образов, усложненностью языка (при всех его блистательных художественных находках) был далек от колорита пушкинской поэзии. В последующие предреволюционные годы, в дни мировой войны социальные мотивы звучат всё чаще в творчестве Маяковского; уже не слышно защиты и проповеди «чистого искусства», апофеоза слова как самоцели художественного творчества. (Вспомним статью «Два Чехова»: «Содержание безразлично… слова – цель писателя… каждый писатель должен внести новое слово… Все произведения Чехова – это решение только словесных задач».) Пушкинские слова, строки, образы вклиниваются в стихотворения Маяковского («Последняя петербургская сказка», 1916 год, и другие).

Реалистичнее становятся произведения Маяковского, яснее – выражение чувств и мыслей, проще – поэтический язык. Это уже

шаг к Пушкину, к его эстетическим принципам.

«А почему не атакован Пушкин?»

Революция 1917 года смешала всё не только в великом доме России, но и в умах многих талантливых и честных писателей. Радужные надежды, неподдельный энтузиазм, готовность вынести «временные трудности», потому что «там, за горами горя, солнечный край непочатый», – всё это было. Этими чувствами охвачен и Маяковский.

Пролеткультовцы снова, как и футуристы в 1912 году, кликушествуют: «Долой классику!», требовательно добавляя: «Даешь социалистическое искусство!» Маяковскому Пролеткульт не нравился, как и РАПП позднее, но и он, находясь во власти «ревинстинкта» и, теперь уже надолго, идеи достижимого коммунизма, искренне («потому что нет мне без него любви») выкрикивает лозунги, которые оказываются даже левее официально большевистских. Новое в его понимании – это безоговорочное отрицание старого. Он готов повести за собой роту в наступление на прежнее искусство и с агрессивной запальчивостью взывает в стихотворении «Радоваться рано» (1918):

Время
    пулям
        по стенке музеев тенькать…
А почему
    не атакован Пушкин?
А прочие
    генералы классики?

«Ассенизатор и водовоз» зарвался, факт, как сказал бы известный литературный герой. Впрочем, желающих атаковать Пушкина было достаточно среди малообразованных «культурологов».

Мгновенно почувствовав неладное, нарком А. В. Луначарский поспешил печатно обуздать ретивого коня, у которого обнаружились «разрушительные наклонности по отношению к искусству прошлого». Маяковский оправдывался, говорил, что его не поняли, но слово было сказано, выкрик лег на газетную полосу. В стенограмме выступления поэта в дискуссии «Пролетариат и искусство» 29 декабря 1918 года читаем; «Поэт Маяковский отбрасывает обвинение, что левые будто бы призывают к насилию над старым искусством. Он сам готов

возложить хризантемы на могилу Пушкина», но «покойники» не должны «влиять на творчество наших дней».

Утешает лишь то, что жуткое стихотворение «Радоваться рано», написанное в год, когда даже Блок поверил большевикам и когда большевистски-эсеровски особенно богохульствовал Есенин, было единственным проявлением со стороны Маяковского грубой антипушкинской агрессии в общем пролетарском хоре, жаждавшем сожжения творений Рафаэля и разрушения музеев. Чаще всего проглядывают изумление, любовь, нежность, иногда – веселое противостояние, легкие кавалерийские наскоки. Доктор филологических наук Э. Г. Бабаев считал стихи Маяковского о Пушкине «неотразимо веселыми, живыми и сердечными» («Литературная газета» от 20 июля 1988 года). Но стихи о Пушкине – впереди. А мы остановились на позиции писателя в 19181919 годах. Столь резкого выпада Маяковский больше никогда не позволит себе, но в 1919 году взгляды его существенно не менялись. Об этом свидетельствуют, например, его полушутливые ответы на анкету «Некрасов и мы». Любопытно наблюдение Б. Бурсова («Судьба Пушкина»): «Даже Маяковский, подчинивший свое перо прямому служению эпохе, мерил себя преимущественно Пушкиным, хотя по программности своего творчества куда ближе к Некрасову».

Не исключено, что воинственный пыл Маяковского остудили выступления В. И. Ленина в 1920 году и резолюция ЦК РКП(б) о Пролеткульте. Как известно, Ленин, хотя и готов был разогнать чуждый ему Большой театр, всё же декларировал необходимость освоения культурного наследия.

Так или иначе, но в 1920–1923 годах Маяковский не сделал ни одного крутого выпада непосредственно против Пушкина (разве что упомянул в 1921 году «вылинявший пушкинский фрак», но это уже невинный троп в полемике с пролеткультовцами и в связи с многократно повторенным им же требованием «дать новое искусство», «новые формы»). Зато пушкинские образы и выражения взяты на вооружение – и надолго. Это и в «Стихотворении о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе» («Правдив и свободен мой вещий язык»), и в стихотворении «О поэтах». Можно вспомнить и антибюрократическое стихотворение «Анчар», и перифраз разговора Татьяны с няней в четвертой главе поэмы «Хорошо!» – с сатирической окраской.

«Я люблю вас…»

Такое впечатление, что всегда существовавшую любовь к поэзии Пушкина Маяковскому долго мешали выразить соображения идеологического и эстетического порядка. Раскованность души и слова пришла в 1924 году. И это было ощущение радости, счастья. Позднее, когда в СССР впервые заговорит радио, Маяковский употребит именно это слово – счастье: «Счастье небольшого кружка слушавших Пушкина сегодня привалило всему миру…» («Расширение словесной базы», 1927 год).

К 1924 году назрела потребность самовыражения в разговоре с Пушкиным по душам обо всём, что волнует. Несомненно, сказалась и атмосфера всенародного празднования 125-летия великого поэта. «Свободно и раскованно», не стремясь к строгой последовательности и логике, как это бывает в интимной дружеской беседе «entre nous», Маяковский ведет откровенный разговор с близким по духу умным человеком, который всё поймет с полуслова. И радостное ощущение от общения с Пушкиным не покидает поэта другой эпохи:

Мне приятно с вами, —
рад,
что вы у столика.

И знаменательно, что начинает этот разговор «агитатор» и «горлан» отнюдь не с политики, а с сугубо личных проблем – с любви. «Любовная лодка», о которой через шесть лет с горечью напишет Маяковский в предсмертной записке, уже сейчас идет ко дну: принципиально меняются отношения с Лилей Брик, гаснет «несгораемый костер немыслимой любви», но сохраняется дружба. Только дружба. Тяжело переживает поэт крушение; тоскливое состояние души не скроешь за привычно утешающими скучными сентенциями вроде: «…можно жить, работать можно дружно». Неудержимо вырываются другие слова: «горе», в сердце «стон», «я теперь свободен от любви и от плакатов», «бесполезно грезить, надо весть служебную нуду», преодолеть «меланхолишку черную», «их и по сегодня много ходит – всяческих охотников до наших жен». Это всё – «и любовь пограндиознее онегинской любви» – о себе, всё имеет жизненную основу, и обо всём этом хочется поведать Пушкину. Кому же еще?

Было всякое:
        и под окном стояние,
письма,
        тряски нервное желе.
Вот
        когда
            и горевать не в состоянии —
это,
        Александр Сергеич,
            много тяжелей.
Айда, Маяковский!
        Маячь на юг!
Сердце
        рифмами вымучь —
вот
        и любви пришел каюк,
дорогой Владим Владимыч.

Горькие строки. Но об этом невозможно молчать, душа просит лирики, хотя и цензор может за это «нацыкать», и, как скажет автор в политической поэме, превращаясь снова в «главаря», «нынче не время любовных ляс». Разговор с Пушкиным размягчил его стонущее сердце, и ему не хочется оставлять больную тему. Но нельзя же забывать о своем имидже, и Маяковский, вдруг меняя тональность, грубовато перефразирует любимые им пушкинские стихи:

Я знаю: век уж мой измерен,
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

Процитировав это четверостишие на диспуте в том же 1924 году, уже не ерничая, Маяковский добавил: «Конечно, мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, и даже в тот момент, когда смерть будет накладывать нам петлю на шею, тысячи раз; учиться этим максимально добросовестным творческим приемам, которые дают верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли. Этого ни в одном произведении в кругу современных авторов нет».

В «Юбилейном» звучит своего рода признание поражения – долговременная атака на лирику не удалась:

Но поэзия —
        пресволочнейшая штуковина:
существует —
        и ни в зуб ногой.

Дескать, извините, читатели, вот и я ударяюсь в лирику, беседуя с дорогим мне Пушкиным, и «даже ямбом подсюсюкнул», хотя и считаю, что прошло время «ямба картавого».

Пушкина автор пытается представить своим современником и объясняет ему положение дел в советской поэзии, в новом российском быте.

Есть, конечно, и в этом стихотворении доля политики, есть строки, говорящие о том, насколько поэт еще во власти большевистского «ревинстинкта». Это типично комиссарский подход к решению судьбы Дантеса:

Мы б его спросили:
– А ваши кто родители?
Чем вы занимались
        до 17-го года? —
Только этого Дантеса бы и видели.

Это уже не шутка. Теперь мы, презирая Дантеса, но зная трагическую историю нашего государства, можем сказать: жуткие слова. И тем более не следовало их произносить Маяковскому – сыну дворянина. Но было сказано. Произнес их поэт – порождение «страшных лет России» и, как ни крути, честный, убежденный, верящий, но все-таки во многом рупор советской власти.

А отношение к Пушкину, как и к классической литературе в целом, говоря нынешним языком, стабилизировалось. «С поэзией прошлого ругаться не приходится – это нам учебный материал», – пишет он в статье «Как делать стихи» (1926). Пушкина оценивает как «наиболее замечательнейшего за всё время существования России поэта», а стихотворение «Я памятник себе воздвиг…» называет «блестящим» (выступление на диспуте о политике Совкино, 1927 год). И в статье 1928 года: «Все рабочие и крестьяне поймут всего Пушкина… так же, как понимаем мы, лефовцы: прекраснейший, гениальнейший, величайший выразитель поэзией своего времени» («Вас не понимают рабочие и крестьяне»). Выходит, и в самом деле, как сказано в «Юбилейном», «у лефов появился Пушкин».

«Я перегнул…»

И всё было бы вполне чинно и благопристойно, но не могут угомониться противники Маяковского: как же это наш простой современник поставил себя в один ряд с Пушкиным:

После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пэ,
а я
на эМ.

Этого Маяковскому простить не могли. И словно не замечали шутливого тона поэта. Броские эпатирующие строки, вытеснив остальные, прочно осели в памяти. Критиковали, высмеивали, бранились и всерьез доказывали, что Маяковский не Пушкин, во всём противопоставляя одного поэта другому. Само сближение этих имен и любое спокойное сопоставление их творчества, вероятно, было бы лестно для Маяковского, но беда в том, что чаще вспоминали Пушкина лишь для того, чтобы уколоть, унизить, уничтожить Маяковского как поэта, и это взвинчивало, бесило его, вызывало его ответные реплики, не всегда справедливые.

Отстаивая свой акцентный стих, Маяковский идет напролом: «Ямбы и хореи нам не нужны. Ямбов и хореев давно не существует. Ямбами и хореями давно никто не пишет… Я не знаю их и не желаю знать. Ямбы задерживают движение поэзии вперед…» (выступление в клубе рабкоров «Правды» 11 апреля 1926 года). Откуда такое ожесточение? Да вот, говорит поэт, учебник Шенгели рекомендует пользоваться исключительно ямбами и хореями. И не только Шенгели.

Прямое или косвенное противопоставление Маяковскому Пушкина стало общим местом диспутов и публикаций двадцатых годов. Это отражено в воспоминаниях Н. К. Крупской, Л. А. Кассиля, В. В. Полонской, А. Н. Сереброва и других. Напомню один эпизод, описанный Крупской. В 1921 году Ленин посетил ВХУТЕМАС. Молодые художники зачитывались стихами Маяковского. «По-моему, Пушкин лучше», – охладил их пыл Ленин. Наверняка об этом случае кто-нибудь рассказал Маяковскому. А. Н. Серебров передает возмущенные слова поэта: «Довольно тыкать в меня Пушкиным… Надоело… Слава, как

борода у покойника, вырастет после моей смерти».

Вероника Витольдовна Полонская, воспоминания которой впервые опубликованы в «Вопросах литературы» (1987, № 5), рассказывает, как Владимир Владимирович (видимо, летом 1929 года) в санатории, недовольный тем, что некий профессор противопоставлял ему Пушкина (у Пушкина, мол, «плавность стиха», «приятные размеры», а у Маяковского – «барабанная дробь»), стал возражать: «…ритмы Пушкина и его времени далеки от нас… у нас в жизни другой темп и ритм, это обязывает к совсем иной, стремительной стихотворной форме, к рваной строке и так далее». И добавил: «Пушкина ценят еще за то, что он умер почти сто лет тому назад. У Пушкина тоже есть слабые места…» Но потом, остыв, сказал Веронике Витольдовне: «Я перегнул. Пушкин, конечно, гениален…»

Вопреки заявлениям, что Маяковский отрицает классиков, он, протестуя против рапповского вульгарного социологизма, пишет остро сатирическое стихотворение «Марксизм – оружие, огнестрельный метод. Применяй умеючи метод этот», в котором, по существу, берет под защиту великих поэтов России. В черновике к стихотворению был заготовлен эпиграф – цитата из книги Л. Н. Войтоловского о том, что якобы по замыслу Пушкина ложе Клеопатры в «Египетских ночах» символизирует декабристскую Сенатскую площадь.

Отметая обвинения в литературном нигилизме, поэт вновь и вновь объясняет свою позицию. За три недели до смерти, 25 марта 1930 года, он говорил, что никогда «уничтожением классиков» не занимался, а выступает «за изучение, за проработку их, за использование того, что есть в них полезного для дела рабочего класса. Но не нужно относиться к ним безоговорочно, как часто встречается у нас…» Владимир Владимирович не знал, что через несколько лет его имя будет столь же безоговорочно канонизировано, но уже в приказном порядке.

К концу двадцатых годов произведения Пушкина издавались такими тиражами, о которых мог только мечтать великий поэт. Маяковский радостно приветствовал это в стихотворениях 1928 года «Шутка, похожая на правду» и «Счастье искусств»:

Многоэтажься, Гиз,
        и из здания
слова
        печатные
                лей нам,
чтоб радовались
        Пушкины

своим изданиям,
роскошным,
удешевленным
и юбилейным.

Вот и вся история отношений, печальная и радостная, может быть, неполная, история, отразившая по-своему явления российской общественной и литературной жизни десятых-двадцатых годов, эстетические принципы и характер Маяковского, эволюцию некоторых взглядов его, заблуждения и правоту, как и ошибки, преступления и правоту сложной эпохи.

Ошибка Фадеева или Мечика?

Нас не надо жалеть: ведь и мы никого не жалели.

Семен Гудзенко

Книга Александра Фадеева «Разгром», мягко говоря, не самое популярное произведение в наше время, и сюжет его – гражданская война на Дальнем Востоке – не увлечет, пожалуй, любителя современных бестселлеров. Представители старшего и среднего поколений детально изучали роман в школе и запомнили, что Морозка – герой, Левинсон – образец большевика-руководителя, а Мечик – подонок и ничтожество. Об этом твердили учебники литературы, монографии и статьи в соответствии с высказываниями самого Фадеева.

Нынешние составители школьных программ либо включают это произведение в обязательный список, либо оставляют его в обзоре литературы 20-х годов: все-таки, что ни говори, творение значительное, талантливое, психологически интересное, в 20-е годы – новаторское, и обойти его молчанием нельзя.

Широко известно авторское определение «основной мысли» романа: «В гражданской войне происходит отбор человеческого материала, всё враждебное сметается революцией, всё неспособное к настоящей революционной борьбе, случайно попавшее в лагерь революции отсеивается, а всё поднявшееся из подлинных корней революции, из миллионных масс народа, закаляется, растет, развивается в этой борьбе. Происходит огромнейшая переделка людей». Нетрудно догадаться, что предполагалось художественно изобразить, как деградирует и «сметается революцией» прежде всего «враждебный», а следовательно, и в корне порочный непролетарский Мечик и как закаляется и «переделывается» рабочий человек Иван Морозов. Поэтому советские комментаторы в каждом поступке и слове Мечика старательно выискивали отщепенца, вырожденца и тому подобное. К. Зелинский даже обвинил Мечика в том, что он не умеет «вести пропагандистскую и организационную работу». Но главным образом почти во всех статьях, вплоть до наших дней, Мечик осуждался как трус и индивидуалист, неизбежно обреченный на предательство, которое и совершил. По классификации теоретиков РАППа он, очевидно, попадал в категорию опасных «попутчиков», соцреализму нужен был компартийный вождь или ревпролетарий, а не рефлексирующая

личность.

Но давайте положим перед собой роман и проследим путь Мечика, являющегося едва ли не главным действующим лицом, психология и поступки которого интересуют автора не меньше, чем психология положительного Левинсона. Возможно, это наблюдение позволит нам сделать некоторые нетрадиционные выводы. Напомню: Павел Мечик, восемнадцатилетний романтически настроенный юноша, недавно окончивший гимназию, затем работавший в городе и общавшийся там с эсерами-максималистами, решил принять участие в гражданской войне и, запасшись путевкой «максималистов», добровольно пришел в партизанский отряд. Действие происходит в 1919 году в Южно-Уссурийском крае. Первая глава романа называется «Морозка», вторая – «Мечик», и на протяжении романа сопоставляются и, чаще, противопоставляются характеры и поступки двух партизан. Мечик появляется уже в первой главе и сходит со сцены в последней.

И в первой же главе – бой, где и происходит знакомство с ним и где он, новичок неоперившийся, получает серьезные ранения (в голову и ноги). Раненого, «враждебно и жестоко схватив за воротник», выносит с поля боя 27-летний Иван Морозов (Морозка). «Лицо у парня было бледное, безусое, чистенькое, хотя и вымазанное в крови». Этот эпитет – «чистенький», как ярлык прилепленный Мечику в первой главе, в дальнейшем будет неоднократно повторяться, станет в романе его негативной характеристикой в устах некоторых партизан, в первую очередь Морозки. Уже во второй фразе следующей главы читаем: «Морозка не любил чистеньких людей». И сразу расшифровывается смысл ядовитого клейма: «В его жизненной практике это были непостоянные, никчемные люди, которым нельзя верить». «Никчемный», – припечатает позднее Левинсон. А какова была «жизненная практика» Морозки, позволившая ему судить о «чистеньких» людях? Он «не искал новых дорог», «играл на гармошке, дрался с парнями, пел срамные песни» и «портил» деревенских девок, воровал, пьянствовал, «всё делал необдуманно». И столь же бездумно отправился бороться за советскую власть. Понятно, насколько чужды были ему «чистенькие». Да и не только ему.

Едва появившись в отряде, Мечик был ни за что ни про что оскорблен и избит, а потом уже стали разбираться, кто он и зачем явился. Морозка смотрел на Мечика «чужим, тяжелым, мутным от ненависти взглядом». Парень осознанно (в отличие от Морозки) пришел в партизанский отряд, чтобы защищать Советы, ему «хотелось борьбы и движения», а отнюдь не карьеры. Он мечтал

быть в одном ряду с былинными богатырями, «голова пухла от любопытства, от дерзкого воображения».

Разочарование наступило очень быстро: «Эти были грязнее, вшивей, жестче и непосредственней. Они крали друг у друга патроны, ругались раздраженным матом из-за каждого пустяка и дрались в кровь из-за куска сала. Они издевались над Мечиком по всякому поводу – над его городским пиджаком, над правильной речью, над тем, что он съедает меньше фунта хлеба за обедом». Никто во взводе не был так унижен, как Мечик. И Левинсон объективно способствовал этому: направил его в самый расхлябанный взвод дурака, пьяницы и халтурщика Кубрака, дал ему самую паршивую, больную ящуром, дряхлую клячу с провалившейся спиной. «Он чувствовал себя так, словно эту обидную кобылку с разляпанными копытами дали ему нарочно, чтобы унизить с самого начала».

Господи! Да разве забредший в отряд человек стал бы терпеть эти издевательства? В два счета сбежал бы (ведь уходили же некоторые). Мечик не сбежал. Он вступил на труднейшую тропу жизни и смерти, «трудный крестный путь лежал впереди». Недавний гимназист терпит. Почему? Да всё потому же, что он не случайный гость, он шел в отряд с «хорошим, наивным, но искренним чувством», он идейный борец, в чем убеждают и его рассуждения в беседе с Левинсоном, и всё его поведение в стане тех людей, которые представляют собой чуть улучшенный, но в общем тот же тип новых хозяев страны, что изображены в «Двенадцати» Блока, – невежественных, презирающих интеллигенцию; это люди невысокой морали и культуры, идущие по земле «без имени святого», отрицающие, по выражению Левинсона, «злого и глупого Бога» и живущие по странному принципу, изреченному в другое время поэтом Семеном Гудзенко: «Нас не надо жалеть: ведь и мы никого не жалели».

А где же совесть, где она?

«Совесть моя где?! – кричал Морозка в ответ на вопрос Мечика, где у него совесть. – Вот она где, совесть, – вот, вот! – рубил он с остервенением, делая неприличные жесты». А у Мечика есть совесть, есть стыд, сострадание, жалость к людям, душевная мягкость. Эти его качества обусловливают и «несвоевременные мысли», и высказывания, и поступки, за которые ему сполна доставалось от авторов советских учебников и пособий, признававших так называемый «пролетарский», а не общечеловеческий гуманизм.

У Мечика доброе сердце, и душа его протестует против грабежа и уничтожения людей, тем более теми методами, какими действовали красные партизаны. Он переживает, когда без суда и

следствия по приказу Левинсона расстреливают «мужика в жилетке», когда отбирают свинью у старого корейца, семья которого живет впроголодь и единственную надежду на выживание в течение зимы связывает с мясом этой несчастной откормленной свиньи. Кореец плачет, умоляет, целует ноги Левинсону – всё бесполезно. «Мечик видел всё это, и сердце его сжималось… „Неужели без этого нельзя?“ – лихорадочно думал Мечик, и перед ним длинной вереницей проплывали покорные и словно падающие лица мужиков, у которых тоже отбирали последнее. „Нет, нет, это жестоко, это слишком жестоко“, – снова думал он…» Как же, как же, оправдательно кивали авторы учебников и критики, укоризненно глядя на Мечика: ведь надо же было кормить красных партизан, цель оправдывает средства. Оправдывает ли? А те мужики, ради которых вроде бы сражаются партизаны, пусть подыхают с голоду? Да дело тут вовсе не в голодных партизанах. Во всей послереволюционной России, и не только в годы военного коммунизма и продразверстки, а и в долгие последующие десятилетия широко осуществлялся тот же негласный принцип (маскируемый красивыми демагогическими лозунгами): сделать всё для народа… за счет ухудшения жизни народа. Реакция Мечика вполне закономерна, его можно понять.

Павел случайно услышал, как Левинсон предлагал врачу отравить тяжелобольного, нетранспортабельного партизана Фролова. «„Они хотят убить его…“ – сообразил Мечик и побледнел. Сердце забилось в нем с такой силой, что казалось, за кустом тоже вот-вот его услышат». Молодой боец не бездействует, а пытается отвести руку Сташинского с ядом. «Обождите!.. Что вы делаете?.. – крикнул Мечик, бросаясь к нему с расширенными от ужаса глазами». Литературоведы, рассматривая этот эпизод, обычно ссылаются на особые условия, трудности и тому подобное. Но «временными трудностями» у нас всегда оправдывали политические преступления и экономическое недотепство. В данном случае нас интересует реакция Павла Мечика. Сопоставим с откликом Морозки и других на смерть товарища, на его отравление:

> – Фролов умер, – глухо сказал Харченко. Морозка туже натянул шинель и снова заснул. На рассвете Фролова похоронили, и Морозка в числе других равнодушно закапывал его в могилу.

Жалеть товарищей здесь не принято. Исчез разочаровавшийся в партизанщине старик Пика. «Никто не пожалел о Пике. Только Мечик с болью почувствовал утрату». Воистину: «…ведь и мы никого не жалели». Разочарование постигло Пику, Мечика. Ну а

Морозка? «Морозка чувствовал себя обманутым в прежней своей жизни и снова видел вокруг себя только ложь и обман». Мысли и чувства Морозки могут, оказывается, неожиданно перекликаться с размышлениями и чувствами Мечика. «…И он (Морозка. – *Г. Я.*), может быть, очень скоро погибнет от пули, не нужный никому, как умер Фролов, о котором никто не пожалел».

Никто, кроме Мечика. Мечик – не только сердобольный, гуманный человек, но и преисполнен благодарности к любому человеку, оказавшему ему хоть каплю участия, внимания. «Он почувствовал тихую благодарность к людям, которые несли его так плавно и бережно»; он испытывает благодарность к Варе, «к хорошей ее любви». Варя – единственная женщина в отряде, олицетворение добра, душевности, самоотверженной любви и сочувствия, постоянной готовности прийти на помощь товарищам; из жалости к бойцам она оказывает им интимные услуги до встречи с Мечиком. Павел – ее первая любовь. За что же она полюбила Мечика? Только ли за внешнюю красивость? Нет, конечно. Почувствовала что-то близкое, родственное. Она сама объясняет, что полюбила юношу за его мягкость, человечность, за то, что он не умеет «зубы показывать» и «никому спуску не давать», в отличие от остальных. В отношениях с Варей Павел застенчив и порядочен. «С особенной, болезненной чуткостью воспринимал он теперь заботы и любовь окружающих…» К сожалению, крайне редко доводилось ему ощущать эти заботы. Чаще приходилось наталкиваться на грубость, недоверие, нарекания, и его доброе отношение к людям не находило адекватного отклика. Павел, в сущности, ничем не провинился перед Морозкой, благодарен ему за спасение, но чувствует свою «беспричинную виновность» перед ревнивым ординарцем. Увидев на поле затихшего боя Морозку, в отчаянии сидящего возле убитого коня, Мечик хочет ему помочь:

> – Морозка… – тихо позвал Мечик. остановившись против него и переполняясь вдруг слезливой доброй жалостью к нему и к этой мертвой лошади…
>
> – Давай я отвезу, или, хочешь, садись сам – я пешком пойду! – крикнул Мечик.

И это великодушно предлагает человек, слышавший немало обидных слов от ненавидящего его партизана! Безответная игра в одни ворота.

По-доброму Мечик относится и к Бакланову: «…он убеждал Бакланова в том, какой тот хороший и умный, несмотря на свою необразованность». Насколько контрастно отношение Мечика к людям – и окружающих к нему! Порой даже кажется, что Мечик,

вопреки мнению автора и критиков, обвиняющих его в индивидуализме, себя любит не больше, чем других людей. По отношению к себе он, склонный к самоанализу, нередко комплексующий, достаточно самокритичен. Окруженный недоброжелателями, он приходит к убеждению, что обитает «наедине со своими мыслями в большом враждебном мире».

В принципиально важной беседе с Левинсоном Мечик предельно искренен и откровенен: «Я ко всем подходил с открытой душой, но всегда натыкался на грубость, насмешки, издевательства, хотя я был в боях вместе со всеми и был тяжело ранен… ни от кого не вижу поддержки». Это сущая правда. Но хоть как-то Левинсон откликнулся на крик души юноши? Он откликнулся… мысленно: «Вот тебе и на… ну – каша!» – и обошел молчанием справедливые жалобы партизана. Зато, ни на минуту не забывая, что он начальник, стал опровергать краткую, но острую критику положения дел в отряде. Однако мы не знаем, какими словами опровергал критику Левинсон. Видимо, в этой центральной сцене романа Фадеев не нашел веских, убедительных доводов и в растерянности отделался безликой общей фразой: «И Левинсон стал привычными словами разъяснять, почему это кажется ему неверным». Вот те раз! «Привычными словами». Какими же? Можно подумать, что от многих людей он уже слышал подобные речи. Но скорее всего, таких речей он ни от кого не слышал и «привычные слова» говорил прежде по другому поводу. Нужны были честность и смелость Мечика, чтобы высказать всё непосредственно командиру отряда. И куда вдруг делись убежденность и категоричность Левинсона? Откуда такая неуверенность выражения: «кажется ему неверным»? Не потому ли. что Левинсон хотя бы не полностью, но осознавал правоту Мечика, однако не позволял себе признать ее? И мысленно Левинсон, не найдя аргументов для отповеди Мечику, оперирует лишь оскорбительными определениями, называя его «нищим», «слабым», «ленивым», «безвольным», «никчемным пустоцветом». Стоило Мечику откровенничать и метать бисер! А ведь мог бы понять Левинсон искреннего и доверчивого юношу, постараться помочь ему. Ведь и сам когда-то был таким же «тщедушным мальчиком» «с большими наивными глазами»; таким же романтическим юнцом когда-то пришел в партизанский отряд и сам Фадеев, таким поначалу был и герой «Конармии» Бабеля… Можно ли этих людей, этих литературных персонажей называть «никчемными людьми» и столь безжалостно унижать их?!

Одно из главных обвинений, брошенных Мечику литературоведами, – трусость. Прежде чем доказать обратное, я

хотел бы напомнить, что, к сожалению, едва ли не каждый человек – и вовсе не природный трус, а мужественная, сильная личность – в критические минуты может испытывать страх, испуг, ужас. Только ханжа станет это отрицать. Вспомним хотя бы сцену из «Войны и мира» Толстого. Пьер во время Бородинского сражения спрашивает храброго солдата:

– А ты разве боишься?
– А то как же? – отвечал солдат.

Летят ядра.

> Пьер, не помня себя от страха, вскочил и побежал назад на батарею, как единственное убежище от всех ужасов, окружавших его.

Не свободны от страха и герои романа Фадеева. Когда раздались выстрелы, Левинсон увидел «побледневшие и вытянувшиеся лица партизан, он прочел то же единственное выражение беспомощности и страха…» Страх охватывает иногда даже любимца Фадеева отважного Бакланова. «А что, ежели заметят?» – подумал Бакланов с тайной дрожью». Можно припомнить и повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр», и другие произведения о войне. Но, как говорили древние, «что позволено Юпитеру, то не дозволено быку». Мечику не дозволено. Я вовсе не намерен воспевать позорную трусость или повторять вслед за Северяниным: «Да здравствует святая трусость во имя жизни и мечты!», тем более что обвинение Мечика в трусости считаю необоснованным.

Да, в первом бою Мечик «проявил себя не очень мужественным человеком». Получив четыре ранения (но, заметим, и в этом случае не бросив винтовки), он даже позволил себе постонать, а затем потерять сознание. Стыдно, конечно, но это первый бой неподготовленного новичка. Он осознает свои промахи, слабость, он молод, еще не сформировался как мужчина и как боец, но очень хочет им стать: «…я буду совсем другой» – надеется он. И изменения («переделка») действительно происходят. Через некоторое время «Мечик почувствовал себя настоящим партизаном». Ему «пришлось карабкаться по хребтам, по безвестным козьим проторям», «скалистым кручам, едва не убившись», хотя он «еще нетвердо чувствовал себя на ногах» после тяжелого ранения.

Левинсон предлагает Бакланову взять Павла в разведку, чтобы проверить, что он собой представляет. В разведке Мечик проявил себя с хорошей стороны, преодолел страх, сделал

несколько точных решающих выстрелов в японцев, спас положение, и Бакланов оценил это: «А ты, брат, молодец! Даже не ожидал от тебя, право. Если бы не ты, он бы нас вот так изрешетил!» Мечик оправдал надежды, но вынужденное убийство человека переживает тяжело – такова натура. В следующем столкновении с японцами Мечик тоже не струсил: «То, что он испытал, было не страх, а мучительное ожидание: когда же всё кончится?» Обстановка по-своему воспитывает и перевоспитывает личность, но то доброе начало, которое было когда-то заложено, сохраняется в натуре Мечика.

Проходит время. Новое сражение, и юный партизан снова доказывает, что он отнюдь не никчемный, не ленивый и не трус: «Мечик, увлеченный общим потоком, мчался в центре этой лавины. Он не только не испытывал страха, но даже утерял всегда присущее ему свойство отмечать собственные мысли и поступки и расценивать их со стороны… и вместе со всеми на совесть старался догнать врага…»

И вот уже предпоследняя, 16-я глава. Отступление, точнее, попытка уйти от преследующего неприятеля, сложнейший переход через болото, через трясину под пулями многочисленных врагов. «Придавленные, мокрые и злые» бойцы спешно уходят, бегут часовые, «партизаны… бросились бежать». А что же Мечик? Он не в городе, он здесь, со всеми, да еще его лошадь сорвалась с гати на болоте, и Мечик, спасая ее, изо всех сил тянет канат и зубами распутывает узел веревки, стянувшей передние ноги лошади.

Когда же наконец обнаружатся пресловутые эгоизм и трусость Мечика? Что-то медлит Фадеев с разоблачением своего нелюбимого героя. Уж не потому ли, что фамилия, данная им персонажу, смутно напоминала ему фамилию какого-то настоящего Мечика (как выяснилось позднее, когда роман был уже издан, действительный Мечик был известен на Дальнем Востоке как вполне достойный человек)?

Но замысел надо осуществлять, и вот она, последняя глава. Дамоклов меч, угрожающе висевший над невинной головой Мечика, стремительно падает. Мечик с Морозкой – в дозоре. Испытав новичка и проникшись к нему доверием, молодой Бакланов, видимо, плохой психолог, сформировал несовместимую разведывательную пару: Мечик и ревнующий и ненавидящий его Морозка. Оба они – в «сонном, тупом» состоянии, «не связанном с окружающим миром», в состоянии «крайней усталости, когда совершенно исчезают всякие, даже самые важные человеческие мысли…» И вот в таком состоянии застают его внезапно выросшие перед ним вооруженные казаки.

Лошадь, испугавшаяся раньше всадника, отбрасывает Мечика в кусты, и он, не успев опомниться и что-либо сообразить, «стремительно покатился куда-то под откос». Мгновенная инстинктивная реакция самозащиты при неожиданно возникшей смертельной опасности. Испугался? Да. Струсил? Да. Но вспомним, что в это же время на «побледневших и вытянувшихся лицах партизан», услышавших выстрелы, появилось выражение «беспомощности и страха». Так чего же мы хотим от юнца Мечика? В этот момент он был во власти чувства опасности, только чувства, осознание последствий позорного бегства пришло к нему через несколько минут. «Глаза Мечика сделались совсем безумными. Он крепко вцепился в волосы исступленными пальцами и с жалобным воем покатился по земле…» «Что я наделал… о-о-о… что я наделал, – повторял он, перекатываясь на локтях и животе и с каждым мгновением всё ясней, убийственней и жалобней представлял себе истинное значение своего бегства… – Что я наделал, как мог я это сделать, – я, такой хороший и честный и никому не желавший зла, – о-о-о… как мог я это сделать!» И он, вытащив револьвер, пытается, но не может покончить с собой.

Вслух ли прозвучал отчаянный вопль (что кажется невероятным) или мысленно, но в любом случае важно, что он был искренним, не для публики (вокруг ни души), и нет тут никакой театральщины. «Он всё еще осуждал себя и каялся». Человек, способный покаяться и осудить себя, может в дальнейшем сделать много хорошего. Морозка, естественно, расценил поступок Мечика как «гнусное предательство», а партийный писатель Фадеев дал себе волю в полной мере заклеймить отщепенца: здесь и самовлюбленность, и «тихонькое паскудство», и равнодушие к судьбе товарищей. Но из этого же романа следует, что в натуре Мечика преобладали не самовлюбленность, а рефлексия и недовольство собой, не «паскудство», а честность, не равнодушие к судьбе товарищей, а человечность. И если «лучше, чище, благородней казался он сам себе до совершенного поступка», так ведь и это верно.

Я не хочу в данной статье давать политическую оценку и современную трактовку сущности гражданской войны – об этом написано много. Но и в рамках фадеевской концепции наш герой в целом выглядит не так уж скверно. Не собираюсь оправдывать Мечика в последнем эпизоде: что плохо, то плохо, поступок отвратительный. Но психологически объяснить его можно и нужно, и я попытался это сделать, прибегая к помощи… автора, которого обильно цитирую.

Однако то, что произошло, никак нельзя назвать

предательством: тут не было ни осмысленной сделки с совестью, ни злого или корыстного умысла, ни даже молниеносного осознания (а оно было необходимо) последствий своих действий. Я и поступком-то затрудняюсь назвать мгновенную реакцию сонного и изможденного Мечика, его роковую ошибку, а когда через минуту после падения под откос он услышал выстрелы и начал что-то соображать, ему стрелять было уже совершенно бесполезно. Предать партизан он не мог по своим убеждениям: вспомним, с каким презрением он говорил Левинсону о людях, которым безразлично, кому служить – Колчаку или Советам. По идейным мотивам он и в отряде оставался, и в боях участвовал. «Бегство» было для него самого неожиданностью. Если бы это был обдуманный поступок (как, например, у Рыбака в «Сотникове» Василя Быкова), разве Мечик так страдал бы, так мучился? Разве он не пытался бы как-нибудь оправдать себя в собственных глазах? Эгоист и себялюбец непременно поступил бы именно так.

Подведем итоги. Желая показать процесс и результаты перевоспитания человека в огне гражданской войны, Фадеев, судя по всему, собирался противопоставить революционное и моральное совершенствование «простого» человека – Морозки – политической и нравственной деградации интеллигента Мечика. Не получилось. Хотя бы уже потому, что развитие Мечика происходило быстро по восходящей (с точки зрения революционного автора) и его скверный поступок в последней главе не явился следствием его взглядов и поведения, описанных на протяжении шестнадцати предыдущих глав, а вступает в противоречие с ними. В то же время процесс «переделки» Морозки отражен слабо, и его самоотверженный поступок в конце книги продиктован, как следует из текста, не преданностью марксистско-ленинским идеям и не приобретенной «закалкой» характера, а тем же чувством товарищества (или компанейства?), которое владело им еще до революции, когда он «не выдал зачинщиков».

Что же все-таки удалось показать Фадееву, несмотря на односторонний большевистский взгляд на события и явную тенденциозность авторских трактовок и оценок? Трагедию гражданской войны, психологию и жизненную драму не героя, не исполина, но чистого, честного, добросердечного, культурного юноши, зараженного идеей революции и добровольно вступившего в чуждый ему круг представителей «простого народа», молодого человека, страстно и упорно стремящегося стать настоящим мужчиной и бойцом, мужающего в смертельной схватке и жестоких испытаниях, но однажды не выдержавшего и по человеческой слабости совершившего опасную ошибку.

История поучительная.

Возможно, мои заметки покажутся кому-то необъективными, но ведь навязшие в зубах характеристики героев «Разгрома» были еще более тенденциозными. И нынешние комментаторы, как видно, недалеко от них ушли. В. А. Чалмаев (в учебнике для 11-го класса «Русская литература XX века», 1997), традиционно обозвав Мечика трусом, себялюбцем и эгоистом, призывает отказаться от «осовремененных интерпретаций Мечика». Почему же отказаться? Каждая новая эпоха произносит свое слово и имеет право на переоценку литературных ценностей, исторических событий и их действующих лиц.

«Свое суждение иметь…»

Не позавидуешь словеснику, начинающему 1 сентября работу в незнакомом 10-м классе и вскоре обнаруживающему, что класс за девять лет не приучен мыслить, рассуждать, спорить. Тщетно вглядывается учитель в глаза подростков и вслушивается в их речи в поисках хоть какой-то опоры, в надежде отыскать «искру Божию», понимание, отзвук или сомнение, несогласие…

Мне повезло больше: я имел возможность наблюдать за развитием моих будущих подопечных. Вот они, еще тепленькие, домашние, в первом классе, на уроке умной и волевой классной руководительницы. У всех на партах – красочное издание «Рассказа о неизвестном герое» С. Я. Маршака. Читают с таким чувством, так обаятельно, искренне и звонко, как умеют, может быть, только в начальной школе. А потом – вопросы, вопросы, вопросы. Зинаида Гавриловна неутомимо будоражит малышей.

– Почему надо «спешить делать добро»? И что считать добром? – А как сделать доброе дело? Ты умеешь?

– Кого можно назвать героем?

– Как стать таким человеком?

И в ответ – самое желанное для учителя:

– Я думаю…

Он, первоклассник, самостоятельно думает, делает выводы, возражает соседу по парте. Ох, как бы он не разучился это делать в последующих классах! «Тому в истории мы тьму примеров слышим».

Слова Крылова припомнились не зря. В 6-м классе я увидел тех же детишек на уроке литературы. Обдумывали басню Крылова «Волк и Ягненок». Готовясь к этому уроку, мальчики и девочки охотно взяли на себя роль волков, ягнят, и теперь они горячо вели житейски-философский спор. Каждый в соответствии со своей маской отстаивал личные интересы и место под солнцем.

– Если мы вас не будем есть, мы погибнем от голода! – кричал один из волков.

– Подружитесь с человеком, как собаки, и вам незачем будет нападать на нас, – пищал сообразительный Ягненок, круглолицый Толя Кузьмин. Урок шел весело, театрально, каждому хотелось вставить словечко. Перед звонком учительница, незаметно направлявшая течение разговора, остановила спорщиков, и все вместе вывели мораль. Мне показалось, что после этого привычное даже для детского уха имя Крылова они стали произносить как-то иначе – с большей теплотой, что ли.

Не обошлось без диспутов и инсценировок и в седьмых-

восьмых классах, тем более – в девятом, где широкие возможности предоставляли для этого «Недоросль», «Горе от ума», «Гамлет», «Мещанин во дворянстве»…

Так что передо мной в десятом классе оказались обстрелянные, «закаленные судьбой» бойцы. Но десятый класс – это не просто следующий класс, это качественно новая ступень взросления; во всем это сказывается и чувствуется – и учителями, и учениками. Полемика приобретает более глубокий, научный характер. Я стараюсь найти возможность столкнуть противоположные мнения прежде всего при изучении программных произведений: ведь именно здесь, что греха таить, кроется наибольшая опасность шаблона, вызванного многолетней «обкатанностью» материала, долбежкой учебников, использованием затасканных шпаргалок, пожелтевших от древности сочинений.

Развитию интереса тут мешает и психологический барьер, ибо известно, что всё обязательное, принудительное бывает для юных невыносимо скучным. Споры, если поддерживать и поощрять их, возникают уже вокруг «скучного» образа Катерины Кабановой, в особенности после знакомства с противоборствующими статьями о ней Добролюбова и Писарева. Приходится решать весьма сложные для десятиклассников проблемы человеческих отношений. Но дело в том, что проблемы эти существуют и поныне, и волнуют они шестнадцатилетних школьников не меньше, а больше, нежели домостроевский быт и засилье купцов-самодуров.

Всего лишь за полгода до встречи с Катериной те же мальчики и девочки в девятом классе восхищались Татьяной Лариной, в которой сознание долга восторжествовало над чувством любви. Правда, В. Г. Белинский не пощадил и не похвалил за это любимую героиню Пушкина, но и учитель, и учебник, конечно, взяли ее под защиту, так же, впрочем, как и Катерину, полностью находящуюся во власти эмоций. А пройдет еще немного времени – преподаватель, возможно, выразит симпатии грешной Анне Карениной. Как же быть не окрепшим в жизненных ситуациях, но пытающимся постигнуть этику и психологию семейной жизни юношам и девушкам? Они спорят, и не надо гасить страстей, не надо бояться подобных тем, нужно только помочь разобраться. Не берусь называть это диспутом, но по существу он идет, порой возникая стихийно.

Фигура Базарова потребовала уже настоящего диспута, и я впервые почувствовал, как выросли духовно мои спорщики, в первом классе нисколько не сомневавшиеся в знании того, «что такое хорошо и что такое плохо».

Следующий диспут готовился еще более основательно и проводился «по всем правилам». Это «суд» над Раскольниковым. Ребята только-только прочли роман. По опыту они уже знали, что в учебник сейчас лучше не заглядывать. Я, разумеется, никаких решений не подсказывал, а только поставил перед спорящими некоторые вопросы для «затравки». За неделю до этого урока десятиклассники распределили роли: судья, четыре обвинителя, четыре адвоката, свидетель обвинения и свидетель защиты, два репортера. И, конечно, сам Раскольников. Остальные – присутствующие в зале суда и участники процесса. Все это не вполне соответствует юридическим нормам, но весьма удобно для выполнения наших задач. А какие у нас задачи? Обвинители разоблачают страшную теорию и практику Раскольникова, а защитники стараются вспомнить все хорошее, что есть в этом человеке, некоторые пытаются оправдывать и его идеи. Я же думаю на уроках о том, как развить у моих дорогих взрослеющих мальчиков и девочек умение разбираться в людях и их поступках, как отвратить их навсегда от всего злобного, бесчеловечного, несправедливого, безнравственного, научить думать, читать, говорить, благородно, осмысленно и целеустремленно жить.

Это и учебное занятие, и игра, и импровизированный спектакль. Выросли наши воспитанники. Теперь они ведут спор практически без моего участия.

«Прошу встать! Суд идет!» – это еще мои слова. Открывается дверь, входит судья, за ним – остальные. На скамью подсудимых садится Раскольников. Обвинители и защитники обмениваются вопросами. Страсти накаляются, ребята удивительным образом входят в роль, а иной раз ведут себя совершенно непредсказуемо. Помню, как во время процесса Люба Стрельникова, по натуре эмоциональная, но обычно сдержанная девочка, напряженно и нервно наблюдала за происходившим в зале суда и вдруг, даже не попросив слова, вырвалась вперед и, отстранив вялого «законного» свидетеля, закричала: «Я видела. Я все видела!» – и торопливо, с неподдельными слезами на глазах, стала рассказывать о преступлениях Раскольникова. И даже привыкшие ко многому одноклассники ошеломленно затихли. Диспуты такого рода привлекают прелестью экспромта. Задают вопросы репортеры, щелкают фотоаппараты, звенит утихомиривающий колокольчик. Урок идет к концу. Последнее слово подсудимого Родиона Романовича. Несколько фраз солидно произносит круглолицый Толя Кузьмин – судья (он потом поступит на юридический факультет). А приговор выносит весь класс путем голосования, и тут многое зависит от того, как поработали обвинители и адвокаты. Но, как правило, это приговор более

суровый, нежели в романе Достоевского. Наши молодые люди не могут простить ни жестокого убийства двух женщин, ни создания антигуманной теории, оправдывающей злодеяния.

Репортажи о судебном процессе чаще всего пишутся с юмором, хотя на уроке было не до смеха. Названия газет изобретаются репортерами. Тут вы встретите и «Весть», и «Судебные ведомости», и «Скул ньюз», и даже «Вечерний синус». Если диспут прошел удачно, интерес к изучаемому материалу обеспечен, и последующие уроки доставляют радость и мне, и ученикам. И если по горячим следам, сразу после «суда», а не после изучения романа Достоевского предложить написать сочинение, то нетрудно догадаться, что учитель получит работы, не покрытые «хрестоматийным глянцем». В них могут быть и ошибочные мысли, и неточности, но это будет драгоценное, свое, самостоятельное суждение. И не надо деспотически навязывать личную точку зрения: гораздо важнее знание материала, «система доказательств», свой взгляд на вещи. Темы сочинений тоже должны давать простор для собственных размышлений. Поэтому безусловно лучше, например, тема «Верна ли теория Раскольникова?», чем «Крах идеи Раскольникова», нередко рекомендуемая методистами.

Дискуссионные возможности заложены во многих разделах школьного курса литературы: Наташа Ростова, Лука и Сатин, Левинсон, герои современных книг. Широкое поле! Впрочем, кто же против полемики? На словах, вероятно, все – за. Но побывайте на уроках, и убедитесь, что спор – редкое явление. Да и один-два диспута, проведенные в классе, не научат ребят отстаивать свои взгляды. Необходимо, чтобы детей учили думать и спорить с первого по одиннадцатый класс, чтобы этим занимался коллектив педагогов, а не отдельный учитель.

Учителей волнует не только вопрос о том, какие произведения надлежит изучать в школе, но и другая, не менее важная проблема: а так ли, как надо, мы преподносим детям шедевры классики? Отвечает ли школьная методика духу и требованиям нашего времени?

Авторское послесловие

Большинство статей, включенных в этот сборник, опубликованы в последнее десятилетие. Печатались они в «Литературной газете», «Московской правде», «Учительской газете», в журнале «Литература в школе» и газете «Литература».

Читатели говорят мне, что это «новые подходы к изучению классики». Может быть. Но я не стремился во что бы то ни стало открывать Америку. И что такое «новый подход»? Не вернее ли говорить о новой трактовке произведений? Но и это не было целью. Когда впервые кем-то анализируется роман или определенные аспекты его, то критик не скован авторитетными мнениями, суждениями; он – открыватель, проторенный путь ему не грозит. А что делать, если перед тобой лежит известнейшее творение, о котором за многие десятилетия написаны сотни статей, канонизированные оценки давно вошли в школьные учебники и ты сам по ним учился, а потом нечто подобное внушал своим ученикам? Сложно.

Но одна эпоха сменяет другую, меняется наша жизнь, «и сам, покорный общему закону, переменился я», выражаясь словами Пушкина. Перемена эта вызвана тем, что с годами накапливалось всё больше сомнений в правильности навязших в зубах толкований, и эти сомнения всё чаще заставляли меня заново перечитывать неоднократно проштудированную книгу. Прочесть свежими глазами, как впервые читает ребенок, но, разумеется, на другом уровне понимания и чувствования. И в ряде случаев сам автор книги аргументированно приводит меня к непривычным выводам, причем содержание произведения может противоречить его собственным взглядам. Но для мыслящего читателя, я думаю, важнее и убедительнее то, что он прочел в книге талантливого мастера, чем тенденциозная конъюнктурная оценка иного критика.

Беря в союзники подлинник, художественное слово, мне хотелось вернуть читателя к тому, что есть в произведении и что следует из самого текста, восстановить справедливость или предложить свою версию, побуждая к размышлению как простого любителя чтения, так и составителей школьных программ и учебников. Как учитель, я, разумеется, делюсь соображениями со своими учениками, предоставляя им право свободно высказываться, соглашаться со мной или спорить, возражать, но непременно обосновывать личную точку зрения, стараться убедить меня и однокашников в своей правоте. Ведь литература, литературоведение не терпят аксиом, предпочитая версии,

защищаемые или отвергаемые иногда на протяжении столетий.

Некоторые из статей, вошедших в данный сборник, вызвали отклики в печатных изданиях и в Интернете.

Бурной реакции удостоилась, например, статья о «Тарасе Бульбе». С моей критикой и постановкой проблемы чаще всего соглашались, но не все дискутанты готовы были исключить повесть Гоголя из обязательной программы, заменить ее другим созданием писателя. Первым был отклик редакции «Литературы», опубликовавшей мою статью. С. В. Волков объяснил позицию газеты: «Прежде всего мы хотим поблагодарить автора письма за мужество, за то, что он решился поднять вопрос действительно спорный, чем сразу вызвал (и еще вызовет) огонь на себя. Многие мысли в статье нам близки… методика изучения гоголевской повести закостенела…» и т. п. Но можно, знакомя учеников с этой повестью, считает С. В. Волков, сопоставлять ее со «Словом о полку Игореве», с «Илиадой» Гомера, ибо «все обозначенные проблемы чисто литературные, филологические…», а впрочем, «в угоду программе не нужно ломать ни себя, ни ребят. Это касается, естественно, и „Тараса Бульбы“», – заключает мой оппонент. Следовательно, «Тараса Бульбу» можно и не изучать. С. В. Волкову возразил главный редактор журнала «Русская словесность» А. И. Княжицкий (*Русская словесность. 2002.* № 6): «Я решил обратить внимание на эту статью, потому что затронутые в ней вопросы выходят за пределы литературной и методической проблематики». Княжицкий убежден в том, что нельзя уводить школьников «от кричащих проблем современности к тихой академической истории литературы» (*Русская словесность. 2002. № 6*).

Были и продолжают звучать отклики на мою статью и на страницах той же «Литературы» (например С. Евграфовой), и в Интернете (Г. Н. Крупновой и др.). Мои оппоненты полагают, что городские и сельские учителя захотят и смогут убедительно объяснить детям, в чем Гоголь и его герои неправы, что хорошо, нравственно и что ужасно. Дай-то Бог! Но все ли смогут и все ли захотят?

Порой встречались мне высказывания и о других статьях, предложенных вашему вниманию. Одно из последних – в серьезной книге известного литературного критика Г. А. Белой «Дон Кихоты революции – опыт побед и поражений» (2004 год) – о статье, посвященной «Разгрому» А. Фадеева: «Г. Н. Яковлев… попытался вместе со своими учениками глазами читателя XXI века посмотреть на роман „Разгром“… Интерпретация романа с точки зрения современного непредвзятого читателя позволяет увидеть главное…»

Авторов учебника-практикума «Литература XX века» для 11-го класса привлекла моя статья о «Двенадцати» А. Блока. В учебнике приведены цитаты из этой статьи и старшеклассникам предложено поразмыслить над ними, сопоставить с высказываниями крупных поэтов и литературоведов.

Отзывы, отклики, споры, поиски истины… Всё это рождает надежду на то, что и книжка, которую вы держите в руках, вызовет у вас какой-то интерес. За это, дорогие читатели, автор будет вам беспредельно благодарен.

Библиографическая справка

Пушкин против «Голиафа Фиглярина». Опубликовано под названием «Презабавные материалы для романа…» в газете «Литература» (май 1995, № 9), ранний вариант – «Булгарин принадлежит народу?» – в «Учительской газете» (31. 12. 1991, № 52).

«Ай да Пушкин!». Опубликовано в «Литературной газете» (12. 10. 1983, № 41 (4951)).

Изучать ли в школе «Тараса Бульбу»? Опубликовано в газете «Литература» (1–7. 03. 2002, № 9 (432)).

«Ему судьба готовила путь славный, имя громкое…» Опубликовано в газете «Литература» (23–31. 10. 2003, № 40 (511)).

А кто такая Одинцова? Опубликовано в газете «Литература» (16–22. 12. 2002, № 47 (470)).

Лгал ли Лука? Опубликовано в газете «Литература» (1–7. 12. 2004, № 45 (563)).

Загадки поэмы Блока. Эссе представляет собой авторскую доработку двух публикаций: «Без имени святого…» («Литература в школе», 1993, № 3) и «Впереди Исус Христос?» («Литература», 3. 01. 1997, № 1).

Свобода слова и перст указующий. Опубликовано в газете «Литература» (1-15. 09. 2006, № 17 (608)).

***«…У лефов появился* Пушкин…»** Опубликовано в газете «Литература» (3. 01. 1998, № 1 (232)).

Ошибка Фадеева или Мечика? Опубликовано в газете «Литература» (16–22. 01. 2001, № 3 (378)).

«Свое суждение иметь…» Опубликовано в газете «Московская правда» (22. 08. 1986, № 192 (20212)).

Григорий Наумович Яковлев (1931–2009) – известный всей стране московский учитель-словесник из знаменитой плеяды выпускников филологического факультета Московского государственного педагогического института (достаточно упомянуть поэтов и исполнителей Юлия Кима и Юрия Визбора, детского писателя Виталия Коржикова, профессора-филолога Галину Белую, педагога и поэта Семена Богуславского и др.). Григорий Наумович много лет проработал учителем, завучем, заведующим кафедрой русского языка и литературы Центра образования № 1811. Он автор более 70 статей в центральных и

московских периодических изданиях. Его блестящие публикации в журнале «Литература в школе», газетах «Литература», «Русский язык», «Учительской газете», «Литературной газете» и проч. во многом определили мировоззрение учителей русского языка и литературы, заставили их по-новому взглянуть на, казалось бы, прописные истины в понимании произведений школьной программы. За выдающиеся заслуги в области культуры и просвещения Г. Н. Яковлев был удостоен редкой государственной награды – медали Пушкина.

…Профессиональное учительское сообщество любит и помнит своего наставника.

notes

Примечания

1

Увы, приходится писать «был», поскольку в октябре 2009 года нас постигла невосполнимая утрата – см. некролог «Памяти Григория Наумовича Яковлева» в газете «Литература», № 24 от 16–31. 12.2009, с. 2.

2

Где хорошо, там и отечество (*лат.*).

3

В «Северной пчеле» было помещено подобное объявление Булгарина. Разумеется, о каждом пункте и о каждом слове плана «Настоящего Выжигина» можно было бы сказать еще многое, как и о всяком слове гения, но размеры данной статьи не позволяют этого.

В последующих изданиях учебника ошибка была исправлена.

5

Статья вошла в настоящий сборник.

Эту идею Б. Сарнов повторил в книге «Опрокинутая купель» (М.: Планета детей, 1997).

7

О пушкинских традициях и новаторстве Маяковского мне довелось высказаться в журнале «Вечерняя средняя школа» (1983, № 4).